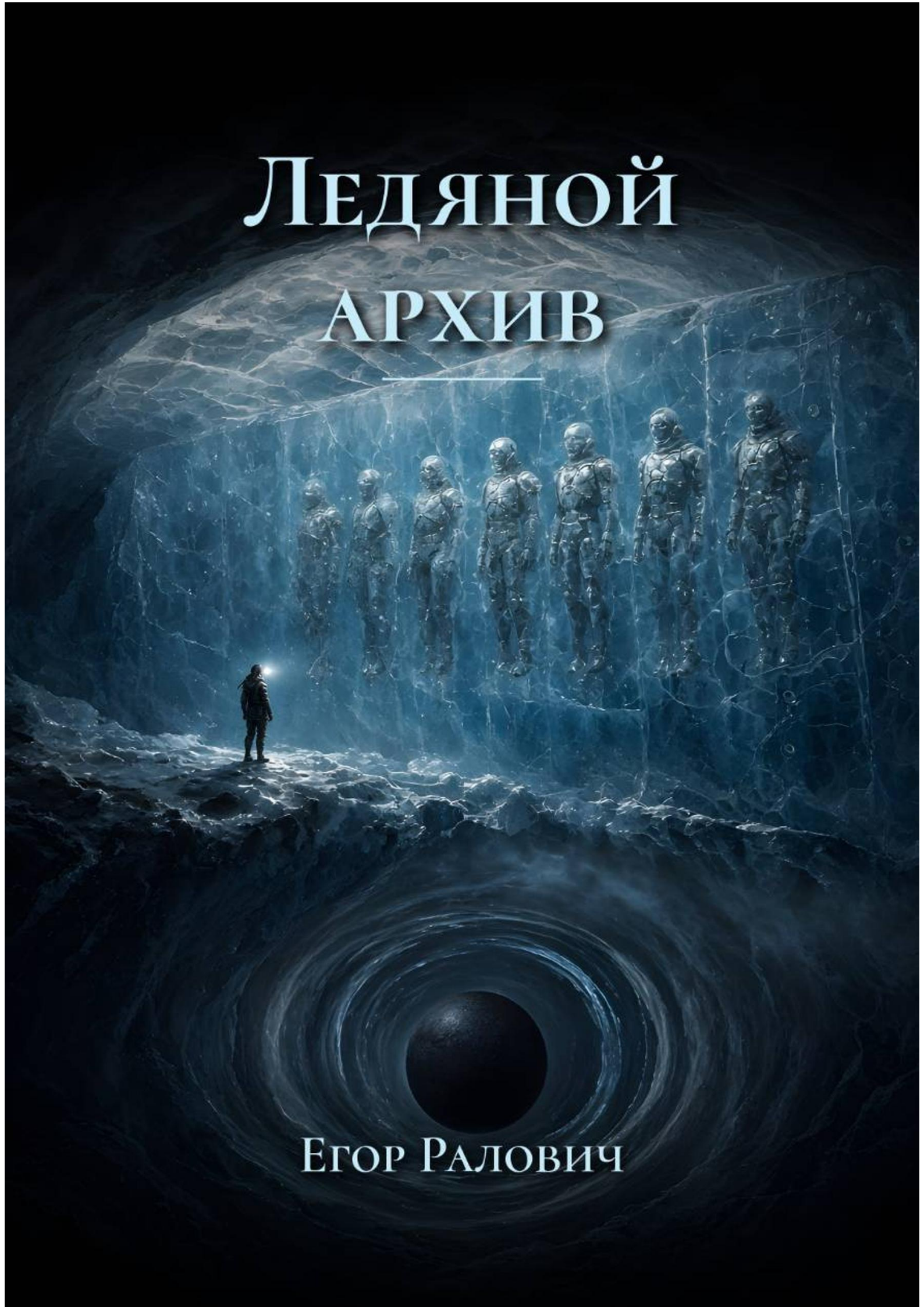
Ледяной архив



Егор Ралович

Егор Ралович

Ледяной архив

«Автор»
2026

Ралович Е.

Ледяной архив / Е. Ралович — «Автор», 2026

Апрель две тысячи двадцать девятого года, остров Безмолвный, северная оконечность Карского моря. Станция «Ледораздел» бурит ледниковый купол, и гляциолог Дарина Вербицкая достаёт с глубины четырёхсот метров керн, которому около девяти тысяч лет. Во льду лежит синяя синтетическая нить.Слои под куполом лежат не по порядку. После ледового толчка у бурового шатра раскрывается трещина, и под ней находят зал прозрачного льда, а внутри – семерых вмёрзших людей в странных костюмах. В костюмы вшиты металлические пластины, исписанные датами, которые ещё не наступили.До ближайшей большой земли сотни километров, связь ненадёжна, в команде кто-то тайно докладывает о находке тем, кому она очень нужна, а за станцией уже следят. Дарина, двенадцать лет назад потерявшая напарника и с тех пор не бравшая на себя чужих жизней, должна прочитать ледяной архив и понять, о какой беде он предупреждает и можно ли её ещё остановить.

© Ралович Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Нитка 5
Глава 2. Слои не по порядку 12
Глава 3. Трещина 18
Глава 4. Семеро 24
Глава 5. Тёплые жилы 30
Глава 6. Вырезать 36
Глава 7. Оттаивание 42
Глава 8. Елисей 48
Глава 9. Хроника 54
Глава 10. Два дня 59
Конец ознакомительного фрагмента. 60

Егор Ралович
Ледяной архив

Глава 1. Нитка

Керн пошёл тяжело, и Дарина Вербицкая поняла это раньше, чем Аким Кныш выругался.

Лебёдка в буровом шатре не взвыла, не дёрнулась – она просто сбавила голос на полтона, как человек, которому на плечи положили лишний мешок. Трос пополз вверх медленнее. Дарина стояла у пульта в двух шагах от скважины, в пуховке поверх двух свитеров, в шапке, натянутой до бровей, и смотрела на цифры глубины. Четыреста двенадцать метров. Четыреста одиннадцать и восемь. Четыреста одиннадцать и шесть.

– Прихватило? – спросила она.

– Не прихватило, – Кныш не повернул головы. Он держал руку на рычаге так, будто слушал через ладонь. – Идёт. Только тяжёлый, зараза.

– Лёд везде одинаковый.

– Это у тебя в книжках он одинаковый. А у меня он каждый метр разный.

Она не стала спорить. За четыре месяца на станции «Ледораздел» Дарина выучила одно правило: с Кнышем не спорят у скважины. Спорят за ужином, в курилке, в бане, если повезёт с баней, – но не тогда, когда снизу на тросе идёт снаряд с тремя метрами льда, которому несколько тысяч лет.

В шатре было тихо, если не считать лебёдки и гудения обогревателя. Ветер снаружи трепал брезент, и тот хлопал редко и глухо, как парус в штиль. Шатёр стоял на куполе Тишина, в двух километрах выше станции, на ровном белом плече ледника. Отсюда в ясный день было видно море – серо-белое, в торосах, с чёрными трещинами разводий. Сегодня ясного дня не было. Было девятое апреля, солнце уже выползало над горизонтом на несколько часов, но висело низко, мутное, как желток в разбавленном молоке.

– Арсений, – сказала Дарина, не оборачиваясь. – Лоток.

– Есть лоток, – отозвался голос из угла.

Арсений Луговой, аспирант-геофизик, двадцати пяти лет от роду, который на станции занимался радаром, а в свободное время – всем подряд, вытащил из-под стола длинный алюминиевый жёлоб, обмотанный изолентой по краям, и поставил его на козлы. Сам он был длинный, нескладный, с вечно красными от мороза ушами, которые никакая шапка не прикрывала до конца. Он подышал на пальцы и встал рядом.

– Четыреста двенадцать – это у нас что по возрасту? – спросил он шёпотом, как в церкви.

– По модели – девять тысяч лет с хвостиком, – сказала Дарина. – Плюс-минус триста.

– Голоцен.

– Голоцен.

– Красота, – сказал Арсений с таким чувством, будто речь шла о девушке.

Кныш хмыкнул.

Снаряд вышел из скважины, весь в инее, блестящий, как мокрая рыба. Кныш перехватил его, развернул, уложил на стойку. Дальше пошла работа, которую Дарина делала сотни раз и которую любила больше всего на свете, – если не считать, может быть, крепкого чая после смены. Отвинтить головку. Осторожно, без рывков, выдавить керн в лоток. Посмотреть, цел ли. Отметить верх и низ. Записать глубину.

Керн вышел целым – три метра двенадцать сантиметров прозрачного, чуть голубоватого льда, круглого в сечении, толщиной с хорошее полено. Лёд на такой глубине был плотный, без

пузырей почти, тяжёлый, как стекло. Дарина провела ладонью в перчатке вдоль бока, чувствуя знакомые слабые бороздки от коронки.

– Ну? – сказал Кныш.

– Хороший, – ответила она. – Целый.

– А почему тяжёлый?

– Сейчас посмотрим.

Она достала фонарь, сняла перчатку с правой руки, чтобы удобнее было держать, и повела луч сквозь лёд, сбоку, под углом. Так всегда было видно лучше: слои, пыль, вулканический пепел, если повезёт, мельчайшие пузырьки старого воздуха, которые потом в лаборатории на материке будут вскрывать и нюхать приборами, выясняя, чем дышала Земля девять тысяч лет назад.

Слои были на месте. Тонкие, ровные, годовые – зима светлее, лето чуть мутнее. Дарина шла лучом сверху вниз, привычно считая про себя, и вдруг остановилась.

На глубине примерно двух метров от верха керна, в самой толще, наискосок через несколько слоёв, тянулась тонкая синяя черта.

Сначала она подумала, что это трещина. Потом – что это отражение фонаря. Она сдвинула луч. Черта не сдвинулась. Она была синяя, ярко-синяя, неестественно ровного цвета, какого не бывает ни в минералах, ни в водорослях, ни в пепле. Длиной сантиметров семь. Толщиной – с волос, может, чуть толще. И на конце она расслаивалась, распушалась тонкими волоконцами, как растрёпанная нитка.

– Арсений, – сказала Дарина очень спокойно. – Подойди.

Он подошёл, наклонился. Дышал он часто, и от дыхания по льду побежала мутная плёнка инея. Дарина отодвинула его голову локтем.

– Не дыши на керн.

– Извините. Это что?

– Не знаю.

– Похоже на нитку.

– Похоже.

Кныш тоже подошёл, вытирая руки ветошью. Посмотрел, прищурился.

– С коронки, – сказал он уверенно. – Или с троса оплётка. Бывает.

– Внутри керна? – Дарина подняла на него глаза. – На двух метрах от торца? Аким, она в слоях. Она вморожена. Вот, смотри, слой идёт над ней, ровно, не нарушен. Она туда не попала сейчас. Она там была.

Кныш посмотрел ещё раз, дольше. Лицо у него было широкое, обветренное, с белыми морщинами у глаз, какие бывают у людей, которые много лет щурятся на снег. Ничего на этом лице не изменилось.

– Тогда птица принесла, – сказал он. – Девять тысяч лет назад. Синяя птица.

– Синих синтетических птиц девять тысяч лет назад не было.

– Почём ты знаешь, что синтетическая?

Дарина не ответила, потому что не знала. Она только чувствовала. Двенадцать лет она смотрела на лёд – в Антарктиде, на Памире, на Шпицбергене, на Полярном Урале, – и за двенадцать лет видела в нём всё, что угодно: пыльцу, вулканическое стекло, споры, крошечных рачков, однажды – перо, настоящее птичье перо, серое, на глубине сорока метров. Но никогда не видела ничего такого синего. В природе этот цвет живёт в небе, в воде и в глазах, а в веществе его почти нет. Так красят люди.

– Режем, – сказала она. – Этот кусок отдельно. Аким, ножовку.

– Сначала сфотографируй, – сказал Арсений. – Вдруг рассыплется.

Она сфотографировала. Девять раз, с разных сторон, с линейкой и без. Потом они с Арсением вдвоём, затаив дыхание, отпилили от керна кусок длиной сантиметров сорок, тот, в

котором была черта, и уложили его в отдельный пенал, в двойной пакет, надписали маркером: «Ледораздел. Купол Тишина. Скважина два. Четыреста девять и восемь – четыреста десять и две». Дарина подумала и дописала: «Не вскрывать без меня».

– Ты прямо как в кино, – сказал Кныш.

– Я прямо как гляциолог, – сказала Дарина.

Остальной керн разрезали обычным порядком, по метру, и упаковали в длинные трубы. Кныш опустил снаряд обратно, но через полчаса сказал, что на сегодня хватит: ветер усиливался, по прогнозу к вечеру должно было задуть с северо-востока, а ехать обратно в мглу он не любил. Дарина спорить не стала. Ей и самой не терпелось вниз.

Они погрузили трубы с керном на сани, прицепили сани к снегоходу и поехали. Кныш вёл первый снегоход, Дарина с Арсением – второй. Пенал с ниткой Дарина везла на коленях, обхватив обеими руками, как ребёнка.

Купол Тишина спускался к морю широкими пологими уступами. Снег на нём к весне стал жёстким, как наждак, ветер вылизал его до блеска, и снегоходы шли по насту, подпрыгивая на застругах. Справа, в серой дымке, угадывались чёрные скалы у берега, за ними – старая метеорологическая изба, построенная ещё при советской власти и брошенная лет тридцать назад, когда поставили новую станцию. Слева был только лёд, бесконечный, до горизонта, который сливался с небом так, что непонятно было, где одно, где другое.

Арсений сзади кричал ей в ухо сквозь рёв мотора:

– А если это не нитка?

– А что?

– Не знаю! Может, минерал какой-нибудь! Может, бактерии! Синие бактерии бывают!

– Бывают! – крикнула Дарина. – Только не прямые, как леска!

– Тогда что?!

Она не ответила. Ветер забивал рот.

Станция «Ледораздел» появилась внизу, как всегда, неожиданно: из белого вдруг выступили яркие оранжевые коробки модулей, мачта связи с красными огнями, ангар, жёлтая бочка у вертолётной площадки. Над жилым модулем шёл пар из вытяжки, и Дарина вдруг почувствовала запах – жареный лук, тушёнка, свежий хлеб. Мартын Мокроусов пёк хлеб по вторникам и пятницам. Сегодня был вторник.

Её всегда удивляло, как быстро тело привыкает к месту. Четыре месяца назад, в декабре, когда вертолёт высадил их здесь в полной темноте при минус сорока, она думала, что не выдержит и недели. Станция казалась ей железной банкой посреди ничего. А теперь, подъезжая, она чувствовала что-то вроде домашнего тепла. Здесь у неё была своя комната – два метра на три, койка, стол, полка, окно в двойном стекле. Здесь был Мартынов хлеб. Здесь были люди, которых она, кажется, уже не могла представить себе по отдельности, только всех вместе.

Их было семеро на станции. Семеро на весь остров Безмолвный, на весь этот кусок льда и камня посреди Карского моря, на сотни километров вокруг.

Прохор Ильич Рындин, начальник, встретил их у ангара. Он стоял в одной меховой безрукавке поверх свитера, без шапки, и седой ёжик у него на голове серебрился инеем. Шестьдесят один год, из них тридцать на Севере. Бывший военный метеоролог, майор в отставке, человек, который за четыре месяца произнёс при Дарине, наверное, меньше слов, чем Арсений произносил за одно утро. Он не любил, когда его называли «товарищ начальник», не любил, когда опаздывали на связь, и не любил, когда кто-нибудь ехал на купол при ветре больше пятнадцати метров в секунду.

– Рано, – сказал он, глядя на сани.

– Ветер, – ответил Кныш.

Прохор кивнул, как будто это всё объясняло, и посмотрел на Дарину. Посмотрел на пенал у неё в руках. Он вообще всё видел, этот Прохор Ильич, даже если молчал.

– Что?

– Нитка, – сказала Дарина. – В керне. На четырёхстах десяти метрах.

Прохор помолчал.

– Какая нитка?

– Синяя.

Он помолчал ещё.

– Разгружайтесь, – сказал он наконец. – Потом покажешь.

Лаборатория кернов была отдельным модулем, соединённым с жилым крытым переходом. Внутри неё стояли морозильные шкафы, на складе в глубине держалось минус тридцать, а в рабочей комнате – минус пятнадцать, чтобы лёд не таял, а человек не умирал. Работать там можно было только в пуховке и в тонких перчатках, поверх которых надевали ещё одни, рабочие, с обрезанными пальцами. Дарина любила эту комнату. Тут пахло холодом, железом и немного спиртом, которым протирали инструмент.

Они с Арсением разгрузили трубы на склад, а пенал она унесла в рабочую комнату и положила на стол под лупу с подсветкой. Сняла пакеты. Положила кусок льда на стекло.

Нитка была на месте. Синяя, ровная, растрёпанная на одном конце. Под лупой она выглядела ещё страннее. Это было не одно волокно, а несколько, скрученных вместе, тонко и правильно, как скручивают пряжу. Каждое волоконце – гладкое, блестящее, одинаковой толщины по всей длине. Ни одно живое существо не делает такие одинаковые волокна. Шерсть – и та разная. Лён – разный. А это было как будто вытянуто из станка.

– Полимер, – сказал Арсений у неё за плечом. – Синтетика. Как у меня на куртке.

– Не торопись.

– Да я не тороплюсь. Я же вижу.

– Видишь – запиши. А выводы потом.

Дверь открылась, впустив облако тёплого пара. Вошла Лидия Марковна Шабалина, врач станции, пятидесяти двух лет, маленькая, сухая, в огромном вязаном свитере с оленями, с сигаретой за ухом, которую она никогда не курила в помещении, но всегда держала наготове.

– Мне Прохор сказал, у вас тут нитки во льду, – сказала она. – Я пришла посмотреть, не сошли ли вы с ума. Это моя профессиональная обязанность.

– Смотрите, Лидия Марковна.

Лидия наклонилась над лупой. Смотрела долго. Потом выпрямилась.

– Ну, – сказала она. – Либо это нитка, либо я тоже сошла с ума. Откуда?

– Четыреста десять метров. Девять тысяч лет.

– Это я слышала. Я спрашиваю – откуда она там?

– Вот и мы спрашиваем.

– Может, с бура? – Лидия повторила Кныша почти слово в слово. Дарина вздохнула.

– Нет. Она в слоях. Она не сверху попала. Если бы её затащило буром, слои вокруг были бы смяты, разорваны, и вокруг была бы буровая жидкость. Здесь всё целое. Лёд вырос вокруг неё. Сверху на неё девять тысяч лет падал снег, слежался, стал фирном, стал льдом. Понимаете? Её туда положили до того, как всё это наросло.

– Кто положил?

Дарина не ответила.

– Ладно, – сказала Лидия. – А если она туда провалилась? Ну, через трещину. Трещины же бывают.

– Бывают. Тогда трещина была бы видна. Залеченная трещина видна во льду, как шов. Здесь нет шва.

– Тогда я не знаю, – сказала Лидия и вынула сигарету из-за уха, повертела её в пальцах и сунула обратно. – Тогда я иду варить кофе. Вам принести?

– Принесите.

Лидия ушла. Арсений постоял ещё, потом сказал:

– Дарина Андреевна, можно я радар прогоню? Над скважиной. Вдруг там что-то крупное.

– Что крупное?

– Ну, не знаю. Вдруг там вся куртка.

Он сказал это в шутку, но шутка повисла в холодном воздухе и не растаяла. Дарина посмотрела на него.

– Ветер, – сказала она. – Завтра.

– Завтра, – согласился он.

Ужин на станции был в семь, всегда в семь, кроме тех дней, когда Прохор объявлял аврал. Столовая занимала половину жилого модуля – длинный стол, лавки, стойка, за которой хозяйничал Мартын, старый телевизор, который почти не показывал, книжная полка с потрёпанными детективами, гитара Рината на гвозде. Пахло хлебом. Хлеб был прекрасный, с хрустящей коркой, ещё тёплый, и Мартын резал его толстыми ломтями, прижимая буханку к груди, по-деревенски, к себе.

Мартын Мокроусов был самым старым на станции – шестьдесят три, – и самым странным. Сорок лет он рыбачил на Белом море и на Баренцевом, потом что-то случилось – никто не знал, что, он не рассказывал, – и он стал поваром на полярных станциях. Говорил он мало и в основном присказками, которые то ли знал от деда, то ли выдумывал на ходу. Руки у него были огромные, синие от старых наколок, которые он давно пытался вывести, и от этого наколки стали похожи на синяки.

– Нитку, говорят, нашли, – сказал он, ставя перед Дариной миску с супом.

– Нашли.

– Синюю.

– Синюю.

Мартын покачал головой.

– Синяя нитка в старом льду, – сказал он. – Плохо. Мой дед говорил: нашёл чужое – не тяни, оно само придёт.

– Это что значит?

– А ничего. Ешь, остынет.

За столом были все, кроме Рината, – тот сидел на связи, в своём закутке с аппаратурой, и ужинал там же, из котелка, потому что у него вечером было окно со спутником. Дарина ела суп и чувствовала, как все на неё смотрят. Даже Кныш, который делал вид, что читает старый журнал про рыбалку.

– Ну, рассказывай, – сказал Прохор.

Она рассказала. Коротко, без выводов. Глубина, возраст, слои, нитка, полимер – «похоже на полимер», поправилась она. Отсутствие шва. Отсутствие буровой жидкости.

Когда она закончила, стало тихо. Только ветер гудел снаружи, и в вытяжке над плитой что-то позвякивало.

– Так не бывает, – сказал Кныш, не поднимая глаз от журнала.

– Не бывает, – согласилась Дарина.

– Значит, ошибка.

– Какая?

– Да любая. Возраст неправильный. Модель твоя. Вдруг там не девять тысяч лет, а пятьдесят. Вдруг тут в шестидесятые годы какие-нибудь военные копали и закопали.

– На четыреста метров? – тихо спросил Арсений.

– Почём я знаю, на сколько. Военные – они всё могут.

– Аким, – сказала Дарина. – Я видела слои. Я их считала. Там нет пятидесяти лет. Там тысячи.

– Ты считала, а я бурил. Я тридцать лет бурю. Я знаю, что во льду бывает всякое.

– Что, например?

Кныш наконец поднял глаза. Глаза у него были светлые, почти белые, усталые.

– Например, то, чего не должно быть, – сказал он. – И лучше это не трогать.

Лидия фыркнула.

– Вы с Мартыном сговорились, что ли? Один – «не тяни», другой – «не трогай».

– Это я от Мартына научился, – сказал Кныш и вернулся к журналу.

Прохор доел суп, отложил ложку. Помолчал, глядя в стол.

– Что ты хочешь? – спросил он Дарину.

– Пробурить ещё. Рядом. Вторую скважину на этой же глубине, в двадцати метрах. Посмотреть, есть ли там что-то.

– Сколько это времени?

– Неделя. Если погода даст.

– А если не даст?

– Тогда две.

Прохор кивнул.

– А радар? – влез Арсений. – Радар можно завтра. Это полдня всего. Я пройду профилем над скважиной, туда-сюда, посмотрю, что глубже.

– Радар можно, – сказал Прохор. – Если ветер стихнет.

Потом он посмотрел на Дарину ещё раз, долго, как будто взвешивал.

– И надо сообщить, – сказал он.

– Кому?

– В институт. Руководству программы. Ринат вечером на связи – пусть отправит.

– Прохор Ильич, а может, подождать? – Дарина отложила ложку. – Мы ведь пока ничего не знаем. Нитка – ну что нитка. Если это ошибка, нас там засмеют. Если не ошибка – пусть сначала будет что показать.

– Засмеют – переживём, – сказал Прохор. – А не сообщить – это нарушение. У меня в инструкции написано: все аномальные находки – в течение суток. Нитка во льду девяти тысяч лет – это аномальная находка. Или нет?

– Аномальная, – признала она.

– Вот и всё.

Он встал, кивнул Мартыну – спасибо за ужин, – и ушёл к Ринату, в закуток связи, по узкому коридору, мимо раздевалки и сушилки.

Дарина посмотрела ему вслед. Ей вдруг стало неспокойно – без причины, просто так, как бывает, когда в комнате кто-то открыл окно и не сразу понимаешь, откуда сквозняк. Она подумала, что Прохор прав, что он всегда прав, что это его работа и его ответственность. Что ничего страшного в сообщении нет: три строчки, фото, глубина. В институте почитают, пожмут плечами, напишут: «Продолжайте наблюдения». Так бывает всегда.

Но беспокойство не проходило.

– Не бери в голову, – сказала Лидия, заметив её лицо. – Если это нитка, через месяц будет статья. Если не нитка – будет анекдот. И то, и другое полезно для здоровья.

– А если не то и не другое?

– А что ещё бывает?

Дарина пожала плечами.

После ужина она вернулась в лабораторию. Сидела там до полуночи, при минус пятнадцати, в пуховке и в двух шапках, и смотрела на нитку под лупой. Нитка была синяя. Нитка была ровная. Нитка была сделана людьми. И она лежала во льду, который сложился, когда на Земле ещё не было ни одного города, когда люди только начинали сеять первый ячмень где-то в далёких тёплых долинах, когда здесь, на острове Безмолвном, не было никого – ни людей, ни зверей, только лёд, ветер и долгая, долгая ночь.

В полевом дневнике – толстой тетради в клеёнчатой обложке, которую она вела с первого дня на станции, – она написала:

«Девятое апреля. Скважина два, глубина четыреста десять метров. Синее волокно, предположительно синтетическое, скрученное из нескольких нитей. Залегает согласно со слоями, признаков позднего внедрения нет. Объяснения нет».

Подумала и дописала ниже, мелко:

«Мне страшно».

Потом зачеркнула. Потом посмотрела на зачёркнутое и оставила, как есть.

Когда она шла по переходу к себе, в закутке связи ещё горел свет. Ринат Ахмеджанов сидел перед экраном, в наушниках, и что-то тихо напевал себе под нос. Прохор стоял у него за спиной, руки в карманах безрукавки.

– Ушло? – спросила Дарина, остановившись в дверях.

– Ушло, – сказал Ринат, сдвинув наушник. – Три фото, текст, координаты. Подтверждение получения пришло. Дальше уже не наша забота.

– Спокойной ночи, Дарина Андреевна, – сказал Прохор, не оборачиваясь.

– Спокойной ночи.

Она ушла к себе, легла, не раздеваясь, на койку и долго лежала, слушая ветер. Ветер усиливался. Стены модуля слегка гудели, как натянутый барабан. Где-то внизу, под станцией, под двумя километрами склона, под четырьмястами метрами льда, лежал кусок девятитысячелетнего года, а в нём – синяя нитка, которой не должно было быть.

Уснула она под утро. И снилось ей, что она идёт по льду, а лёд прозрачный, как стекло, и под ним, глубоко, кто-то идёт ей навстречу, снизу вверх, и держит в руке синюю нитку, и тянет её к себе.

Глава 2. Слои не по порядку

Ветер к утру не стих, а только сменил голос – с низкого гула на тонкий, почти свист, который проходил сквозь стены и дрожал в оконных стёклах. Прохор на утренней планёрке сказал одно слово: «Сидим». Это значило, что на купол сегодня не едет никто, ни бурить, ни мерить, ни смотреть.

Арсений расстроился так, будто у него отняли день рождения.

– Да там всего двенадцать метров в секунду, – сказал он, глядя на табло метеостанции в столовой. – Я по гребню пройду, там не дует.

– Там дует, – сказал Прохор.

– Я быстро.

– Сидим.

Арсений сел. Мартын поставил перед ним кашу и сказал:

– Ветер не уговоришь. Ветер не начальник, ему не докажешь.

– А начальник – ветер? – буркнул Арсений.

– Начальник хуже, – серьёзно сказал Мартын. – Ветер хоть стихает.

Дарина ушла в лабораторию сразу после завтрака. Ночью она почти не спала, но голова была ясная и холодная, как у человека, который знает, что ему надо сделать, и ему не терпится начать. На станции был небольшой набор для первичного анализа – микроскоп, весы, плавильная камера, простейший спектрометр, который им дали в институте «на всякий случай» и которым до сих пор никто не пользовался всерьёз. Для настоящих анализов керн должны были увезти на материк в конце сезона. Но до конца сезона было ещё два месяца, а нитка лежала здесь, на столе.

Она решила растопить только маленький кусочек льда вокруг конца нитки – того, что был растрёпан, – и вынуть оттуда одно волоконце. Остальное не трогать. Это было нарушением всех правил отбора проб, и она понимала это. Но правила писали люди, которые не находили синих нитей на четырёхстах метрах.

Работала она два часа. Грела лёд тонким паяльником, по миллиметру, собирала талую воду пипеткой в пробирку – тоже пригодится, – пока наконец кончик нитки не освободился и одно волоконце не легло на стекло отдельно, тонкое, синее, блестящее под лампой.

Под микроскопом оно было ещё красивее. Гладкое, круглое в сечении, с чуть заметной продольной бороздкой, как у пера. Внутри – ни клеток, ни пор, ни слоёв. Однородная масса. Ровно окрашенная, насквозь, а не по поверхности.

Дарина взяла пинцетом кончик и поднесла к маленькой горелке, к самому краю пламени. Волоконце не вспыхнуло. Оно съёжилось, оплавилось, потемнело, на конце образовалась крошечная твёрдая капелька. Запахло – едва-едва – чем-то кислым и химическим.

Шерсть пахнет палёным волосом. Хлопок горит, как бумага. Это плавилось, как пластмасса.

Она записала в дневник. Потом подумала, достала из ящика старую рабочую варежку, выдернула из подкладки нитку – подкладка была синтетическая, тёмно-зелёная, – и повторила опыт. Пахло так же. Капелька была такая же.

Потом она положила остаток синего волоконца в спектрометр. Прибор работал медленно, шумел вентилятором, и на экране долго ползла рваная кривая. Дарина смотрела на неё, хотя знала, что расшифровать её как следует не сможет: для этого нужны были базы данных, сравнение, специалисты. Но кое-что она понимала. Кривая показывала то, что показывает любая пластмасса, – углерод, водород, характерные связи. И что-то ещё – высокий острый пик, который она не узнала.

Она сфотографировала экран.

Когда в лабораторию пришёл Арсений, она сидела на табурете, сгорбившись, и смотрела на стекло с волоконцем.

– Ну? – спросил он.

– Пластик.

– Я же говорил!

– Ты говорил. Я проверила. Это синтетическое волокно. Сделано на станке, окрашено в массе. Плавится, не горит. И в нём есть что-то, чего я не знаю.

– Что значит не знаете?

– То и значит. Есть пик, который я не могу привязать. Может, это краситель. Может, добавка. Может, прибор врёт. – Она потёрла глаза. – Арсений, это не самое главное. Самое главное другое. Эта вещь не могла лежать в этом льду. Значит, либо лёд не тот, либо вещь не та.

– Может, лёд не тот? – Он сел на соседний табурет, сунул руки под мышки. – Может, модель неправильная? Вдруг там правда не девять тысяч лет?

– Я сама про это думала всю ночь. – Дарина достала из стола толстую папку с распечатками. – Смотри. Вот профиль первой скважины, прошлого сезона. Вот вторая, наша. До трёхсот метров всё как по учебнику. Слои ложатся ровно, возраст растёт с глубиной, пепел от известных извержений там, где ему положено быть. А вот здесь, после трёхсот восьмидесяти, начинается странное.

Она ткнула пальцем в график. Линия, которая до того шла плавно вниз, на трёхстах восьмидесяти метрах вдруг дёргалась, как кардиограмма, и потом шла дальше уже рвано, зубцами.

– Это что?

– Это соотношение изотопов кислорода. По нему мы определяем температуру, а значит, и сезон, и год. Здесь, видишь, у меня зима-лето-зима-лето, ровно. А здесь зима-зима-лето-зима-лето-лето-зима. Слои перемешаны. Как будто кто-то взял колоду карт и снял сверху половину, и сунул в середину.

– Так это же складка! – сказал Арсений. – Лёд течёт. Он у ложа мнётся, гнётся, может лечь гармошкой. Это нормально, это везде бывает.

– Везде бывает у дна, – сказала Дарина. – Возле скальной постели. Здесь до дна ещё двести с лишним метров. И складка – это когда слои перекручены, а здесь они не перекручены. Они ровные. Каждый сам по себе ровный. Просто идут не по порядку. Как будто их не смяли, а переложили.

Арсений помолчал.

– Как будто кто-то вставил кусок одного года в середину другого, – медленно сказал он.

– Да.

– Тогда нитка могла прийти из другого года.

– Из какого?

Он пожал плечами.

– Из того, где есть синие нитки.

Они посмотрели друг на друга. Дарина первая отвела глаза.

– Это не наука, – сказала она. – Это сказка.

– А что тогда наука?

– Наука – это вторая скважина. И радар. И анализы на материке. И статья, которую будут три года рецензировать.

– А если у нас нет трёх лет? – спросил Арсений вдруг серьёзно.

– Почему нет?

– Не знаю. – Он улыбнулся смущённо. – Просто сказал. Мне Мартын с утра про ветер всё рассказывал, что ветер принёс – то ветер и унесёт. Я теперь тоже присказками говорю.

После обеда ветер начал стихать, и к четырём часам опустился до восьми метров в секунду. Прохор посмотрел на табло, на небо в окне, где сквозь серую муть пробивалось низкое розовое солнце, и сказал:

– Радар – можно. На два часа. Ринат с вами.

Ринат Ахмеджанов выглядел так, как будто его разбудили посреди интересного сна. Он был невысокий, крепкий, с аккуратной чёрной бородкой и очень белыми зубами, которые постоянно показывал в улыбке. На станции он отвечал за связь, за генераторы, за вездеход, за снегоходы, за отопление и вообще за всё, что имело провода или мотор. Ещё он играл на гитаре – плохо, но с удовольствием, – и знал наизусть всего Высоцкого, что на полярной станции считалось почти обязательным.

– Опять на купол, – вздохнул он, натягивая комбинезон. – Что вам там мёдом намазано?

– Нитками, – сказал Арсений.

– Ниткой, – поправила Дарина.

Радар был устроен просто: длинные антенны в чехле на санях, которые тянули за снегоходом, и ящик с электроникой, подключённый к ноутбуку. Радар посылал вниз, сквозь лёд, электромагнитные волны и ловил их отражения – от слоёв, от трещин, от камня на дне. Арсений вёл профиль за профилем, медленно, крест-накрест над второй скважиной, а Дарина сидела рядом с ним на санях и смотрела на экран, где ползли серые волнистые полосы, похожие на срез слоёного пирога.

Ринат вёл снегоход – ровно, как по линейке, по вешкам, которые они воткнули в снег.

Через час Арсений вдруг сказал:

– Стоп.

Ринат остановился. Арсений смотрел на экран, и лицо у него было такое, будто он увидел привидение.

– Дарина Андреевна. Посмотрите.

Она посмотрела. На экране, на сером пироге слоёв, ниже отметки в четыреста метров, было тёмное пятно. Неправильной формы, вытянутое, похожее на перевёрнутую каплю. Широкое – метров двадцать, если она правильно читала масштаб. Высотой – метров пятнадцать.

– Полость, – сказал Арсений. – Пустота. Или вода. Скорее пустота, отражение вон какое резкое.

– Под нами?

– Не прямо. Метров тридцать к северу от скважины. Глубина верха – четыреста двадцать. Мы мимо неё пробурили, совсем чуть-чуть промахнулись.

– Ледяная пещера на четырёхстах метрах?

– Почему нет? Может, это старый канал талой воды. Или каверна у трещины.

– Покажи ещё раз.

Он прокрутил профиль назад. Пятно было на месте. И внутри пятна, по его левому краю, Дарина увидела ещё кое-что: тонкие, частые, вертикальные чёрточки, как частокол. Семь, восемь, может, больше, разной высоты, сантиметров по двадцать на экране, что значило... она прикинула в уме... метра полтора-два в действительности.

– Это что? – Она ткнула пальцем.

– Не знаю, – честно сказал Арсений. – Помехи, может. Или сосульки. Ну, сталактиты ледяные. Или включения какие-то плотные.

– Вертикальные.

– Вертикальные.

– Все одной высоты?

– Примерно. Метр шестьдесят – метр девяносто.

Ринат обернулся с седла.

– Вы чего там? Нашли что-то?

– Не знаем, – сказала Дарина. – Ринат, проедь ещё раз. Медленно. Вдоль, с севера на юг.

Он проехал. Потом ещё раз, поперёк. Потом по диагонали. На каждом профиле полость была на месте. И тени – тоже. Арсений пытался их сосчитать и всякий раз получал разное число – от шести до девяти, потому что тени сливались и расходились в зависимости от угла.

– Это не сосульки, – сказал он наконец тихо, глядя на экран. – Сосульки растут сверху. А эти стоят снизу. На полу.

– Значит, не сосульки.

– Тогда что?

Дарина не ответила.

Солнце опустилось к горизонту и покраснело, лёд вокруг стал розовым, тени – длинными и синими. Ветер снова начал подниматься, сначала понемногу, потом сильнее, и Ринат сказал, что пора возвращаться, а то Прохор их живьём съест.

Всю дорогу вниз Дарина молчала.

Вечером за ужином Арсений рассказывал про полость, размахивая вилкой. Он рисовал её на салфетке, потом на второй салфетке, потом Мартын отобрал у него салфетки и дал лист бумаги из своей поварской тетради. Арсений нарисовал на листе пятно, а в пятне – частокол.

– Вот, – сказал он. – Двадцать метров в ширину. Пятнадцать в высоту. И вот это.

Все склонились над рисунком.

– Похоже на людей, – сказал Ринат и засмеялся. – Стоят, ждут автобуса.

Никто не засмеялся вместе с ним. Ринат перестал улыбаться.

– Да я шучу, – сказал он.

– Это не люди, – сказала Дарина. – Это включения. Плотные включения во льду.

– Камни? – спросил Прохор.

– Может быть. Может быть, моренный материал. Бывает, что ледник тащит валуны, и они в нём вмерзают.

– Стоймя?

– Почему нет.

Прохор посмотрел на неё внимательно.

– Ты сама в это веришь?

Дарина помолчала.

– Нет, – сказала она.

– Тогда во что веришь?

– Ни во что. Я не знаю, что там. И никто не знает.

– Надо дырку туда пробурить, – сказал Кныш неожиданно. Все посмотрели на него. Он сидел в конце стола, чистил ножом луковицу – зачем-то, просто так, крутил её в пальцах и снимал шелуху. – Вы ж хотите знать. Я пробурю. Тридцать метров к северу. Неделя.

– Ты же вчера говорил – не трогать, – сказала Лидия.

– Вчера говорил. А сегодня вы всё равно тронете. – Кныш пожал плечами. – Лучше уж я. Я аккуратно.

– Подождём ответа из института, – сказал Прохор.

– А ответ был? – спросила Дарина.

– Был, – сказал Ринат. – Днём. Ну как ответ, подтверждение. «Информацию приняли, ожидайте указаний». И всё.

– Обычно они отвечают через неделю, – сказала Дарина.

– Обычно, – сказал Ринат. – А тут подтвердили через два часа. Я ещё удивился.

Прохор нахмурился, но ничего не сказал.

– Прохор Ильич, а давайте им ещё и про полость сообщим, – предложил Арсений. – С профилями. Это же сенсация. Это же...

– Нет, – сказала Дарина неожиданно для себя самой.

Все повернулись к ней.

– Почему? – удивился Арсений.

– Потому что мы не знаем, что это. Нитку отправили – хватит. Пусть сначала ответят. Пусть скажут, что они об этом думают. А то будем как дети, которые каждые пять минут бегут к маме с новой лягушкой.

– Дарина права, – сказал Прохор после паузы. – Нитка – это находка. Полость – это гипотеза. Гипотезы мы не отправляем. Сначала проверим.

Арсений надулся, но спорить не стал.

Когда все разошлись, Лидия задержалась у стола, собирая кружки. Дарина помогала ей молча. Мартын гремел посудой за стойкой.

– Ты сегодня какая-то не такая, – сказала Лидия, не глядя на неё. – Обычно ты первая лезешь, куда не просят. А тут – «не отправляем, подождём».

– Повзрослела.

– За один день?

Дарина поставила кружки в мойку.

– Лидия Марковна, вы помните, я рассказывала про Памир?

– Про напарника? Помню. Ты не рассказывала, ты один раз сказала, и всё.

– Его звали Костя Ляхов. Мы с ним шли на ледник Федченко, на верхний цирк, ставить вешки. Я торопилась. У меня была идея, красивая, я хотела успеть до снегопада, чтобы потом написать статью. Он говорил, что надо переждать. Я сказала: успеем. – Дарина вытерла руки о полотенце. – Мы не успели. Мост над трещиной был слабый. Он шёл первым, потому что я ему так велела.

Лидия молчала.

– С тех пор я не тороплюсь, – сказала Дарина. – С тех пор я всё время боюсь, что из-за моей красивой идеи кто-нибудь пойдёт первым. Вот и всё. Ничего я не повзрослела. Я просто трусиха.

– Это не трусость, – сказала Лидия. – Это память. Разные вещи.

– А как их отличить?

– Трусость прячется. А память смотрит. – Лидия сунула сигарету за ухо поглубже. – Ты смотришь. Значит, всё нормально. Иди спать.

Но спать Дарина не пошла, а вышла на крыльцо. Ветер дул ровно, сильно, сек лицо сухим снегом. Небо на северо-востоке было тёмное, а на юго-западе ещё горела узкая полоса заката, багровая, как разрез. Станционные огни мигали на мачте. Внизу, у моря, на чёрных скалах, угадывалась старая изба – тёмный горбик под снегом.

Рядом встал Мартын. Он курил трубку – единственный на станции, кто курил трубку, – и дым уносило ветром, не давая ему подняться.

– Не спится? – спросил он.

– Ещё рано спать.

– А потом не уснёшь, – сказал Мартын. – Я по тебе вижу.

– Вы тоже думаете, что это люди? – спросила Дарина. – Там, во льду?

Мартын долго молчал.

– Я, когда на Баренцевом ходил, – сказал он наконец, – мы раз вытащили сетью мужика. В старом бушлате, в валенках. Мёрзлого. Его, говорили, в войну смыло с транспорта, и лет сорок он там в холодной воде лежал, на дне, в иле, целенький. Такой, знаешь, как будто только заснул. Капитан наш велел его обратно. Мы его обратно опустили, по-людски, с молитвой. И знаешь, что?

– Что?

– А ничего. Ничего не было. – Мартын выпустил дым. – Только я его лицо до сих пор помню. Лучше, чем лицо матери. Вот так. Что из холода вынешь – то с тобой и останется.

Он выбил трубку о перила и ушёл в дом.

Дарина постояла ещё. Потом достала из кармана телефон – здесь он был бесполезен, связи никакой, только фотоаппарат и фонарик, – и открыла снимок экрана радара, который сделала на куполе. Серые слои. Тёмная капля полости. Частокол.

Она увеличила снимок. Пиксели расплылись, частокол превратился в серые размытые столбики. Ничего нельзя было разглядеть. Это были просто тени. Просто включения.

Просто люди, стоящие во льду и ждущие автобуса.

Дарина выключила телефон и ушла в дом.

Ночью ей снова снился лёд. Но теперь она не шла по нему, а лежала внутри, вмороженная, и не могла пошевелиться, а над ней, где-то высоко, сквозь толщу, ходили люди, и голоса их были глухие, как сквозь воду. Один голос был похож на голос Прохора. Другой – на её собственный, только старше, хриплее, медленнее. Этот второй голос говорил: «Не отправляй. Только не отправляй». И она хотела ответить, что уже отправили, что поздно, что всё уже ушло, – но лёд держал её губы, и она не могла сказать ни слова.

Она проснулась в четыре утра, мокрая от пота, и пол под койкой мелко дрожал, а со стола со звоном упала кружка.

Глава 3. Трещина

Толчок был один, короткий, но такой, что Дарина ещё минуту лежала, вцепившись в край койки, и ждала второго. Второго не было. Только где-то в модуле продолжало что-то позвякивать – посуда в столовой, стёкла, жестяная вытяжка. Потом и это стихло.

В коридоре хлопнула дверь. Кто-то пробежал. Голос Прохора, спокойный, но громче обычного:

– Все живы? Отзовитесь.

– Живы, – крикнула Дарина и сама удивилась, как хрипло вышло.

Из соседних комнат отозвались другие. Арсений – испуганно и радостно сразу, как мальчишка во время грозы. Лидия – с бранью, потому что ударилась коленом о тумбочку. Кныш – коротко: «Тут». Ринат не отозвался, он ночевал в закутке связи, и Прохор пошёл туда сам.

Через десять минут все стояли в столовой – в чём были, в термобелье, в носках, кто-то в накинутой куртке. Мартын, как ни в чём не бывало, ставил на плиту чайник. На полу под стойкой лежала разбитая банка с вареньем, и густая брусничная лужа медленно расползалась по линолеуму.

– Землетрясение? – спросил Арсений.

– Здесь не бывает землетрясений, – сказал Прохор. – Это лёд.

– Ледотрясение, – сказала Лидия. – Прекрасно. Мне нравится это слово. Я его запишу в карточку как диагноз.

– Купол двигается, – объяснила Дарина, ни к кому особенно не обращаясь. – Подвижки бывают. Лёд копит напряжение, потом сбрасывает. Обычно слабо, приборы только замечают. Это было сильно.

– Насколько сильно? – спросил Прохор.

– Не знаю. Нужно посмотреть сейсмодатчики.

Ринат уже включил компьютер. Сейсмодатчиков на станции было три – один у самой станции, один у бурового шатра, один на западном краю купола. Ринат долго смотрел на экран, потом присвистнул.

– Эпицентр – у шатра, – сказал он. – Ну, не у шатра. Рядом. Метров пятьдесят к северу. Глубина... – он прищурился, – глубина метров четыреста.

Дарина и Арсений переглянулись.

– Полость, – тихо сказал Арсений.

Никто не ответил.

Рассвет пришёл в шестом часу – серый, тихий, без ветра. Впервые за неделю было по-настоящему тихо, так тихо, что снаружи слышно было, как потрескивает от мороза металл на мачте. Минус двадцать шесть. Видимость – до горизонта. Прохор посмотрел на небо, на табло, на Дарину, которая уже стояла у вешалки в полном снаряжении.

– Едешь?

– Еду.

– Не одна.

– Не одна, – согласилась она. – Арсений, Ринат и Аким. И верёвки. Все верёвки, что есть.

Прохор кивнул, помолчал и вдруг сказал:

– Я тоже поеду.

Это было неожиданно. За четыре месяца Прохор поднимался на купол два раза: в первую неделю, чтобы посмотреть площадку под шатёр, и в феврале, когда у Кныша сломалась лебёдка и нужно было решать, вызывать вертолёт с запчастями или нет. Всё остальное время он сидел на станции и руководил. Он говорил, что начальник должен быть там, где связь.

– А связь? – спросила Дарина.

– Лидия посидит. Она умеет.

Лидия, которая как раз выходила из столовой с ведром и тряпкой для варенья, остановилась.

– Я умею, – подтвердила она. – Я вообще всё умею. Только не люблю.

Мартын дал им с собой термос с чаем, хлеба с салом и почему-то – свечку. Обычную стеариновую свечку, белую, в фольге.

– Это зачем? – удивился Арсений.

– Под землёй, – сказал Мартын. – Фонари гаснут, а свечка горит. И если пламя задрожит – значит, воздух идёт. Значит, выход есть.

Арсений хотел засмеяться, но посмотрел на лицо Мартына и сунул свечку в карман.

Они ехали на трёх снегоходах. Впереди – Кныш, с санями, на которых лежали бухты верёвок, железо, лестница, ледобуры и аварийная аптечка. За ним – Прохор. Потом – Ринат с Дариной и Арсением, теснясь на одном сиденье и на прицепе.

Купол в безветрие был другим. Не слепящим, не злым – огромным и спокойным, как спящее животное. Снег искрился, и от каждой неровности тянулась длинная голубая тень. Солнце висело над горизонтом на юге, ещё совсем низкое, и казалось, что оно катится по краю мира, не решаясь подняться.

Шатёр стоял на месте. Дарина выдохнула, когда его увидела, – она не признавалась себе, но всю дорогу боялась, что он провалился. Брезент был цел, мачта стояла прямо, лебёдка – под чехлом.

А в пятидесяти метрах к северу от шатра лёд был разорван.

Трещина шла с востока на запад, почти прямо, длиной метров в восемьдесят. Края у неё были свежие, острые, голубые, без единой снежинки, как края разбитого стекла. Шириной она была в самом широком месте метра два, по краям сужалась до щели. Снег вокруг неё вздыбился гребнями, будто что-то под ним вспучилось и опало.

Они остановились в двадцати метрах. Кныш первым слез со снегохода, подошёл ближе, медленно, проверяя щупом снег перед каждым шагом. Остановился в трёх метрах от края.

– Глубоко, – сказал он.

Дарина подошла к нему, тоже прощупывая. Встала рядом. Посмотрела вниз.

Трещина уходила в темноту. Сначала голубую, потом синюю, потом – совсем чёрную. Стены её были гладкие, отполированные, будто лёд не треснул, а его разрезали. Из глубины тянуло холодом – не обычным, наружным, а другим, плотным, застоявшимся, как из погреба. И ещё – Дарине показалось – там внизу был звук. Тихий, ровный, на грани слуха. Как будто очень далеко гудела трансформаторная будка.

– Слышите? – спросила она.

– Что? – Кныш наклонил голову. – Нет.

Арсений подошёл, послушал.

– Я слышу, – сказал он. – Гудит. Как провода.

– Ветер, – сказал Кныш. – В трещинах всегда ветер.

– Ветра нет.

– Внизу есть.

Прохор стоял чуть позади и молча смотрел. Потом спросил:

– Глубина?

Ринат достал лазерный дальномер, лёг на живот у края, свесил руку. Нажал кнопку. Прибор пискнул, Ринат посмотрел на экранчик.

– Четыреста восемнадцать метров, – сказал он, и голос у него сел.

– Четыреста восемнадцать, – повторил Арсений. – Верх полости – четыреста двадцать. Трещина пробила крышу. Она ведёт прямо туда.

Повисла тишина. Гул из глубины, казалось, стал чуть громче.

– Нет, – сказал Прохор.

– Прохор Ильич...

– Нет. Четыреста метров. Вы в своём уме? Это не трещина на леднике, это шахта. У нас нет снаряжения на четыреста метров.

– Есть, – сказал Кныш неожиданно. – Лебёдка. Буровая лебёдка. На ней тысяча двести метров троса. Если поставить её над трещиной, с распоркой, с блоком – человека спустить можно. Медленно, но можно. Кабина нужна. Или люлька.

– И кто полезет?

– Я, – сказала Дарина.

– И я, – сказал Арсений тут же.

Прохор посмотрел на них, как на детей, которые просятся на крышу.

– А если ещё толчок? А если стенки сойдутся? А если трос?

– Трос выдержит тонну, – сказал Кныш. – Я его сам проверял. Толчок – да, толчок может быть. Но после такого сброса обычно неделю тихо. Лёд разрядился.

– Обычно, – сказал Прохор.

– Обычно, – согласился Кныш.

Дарина подошла к Прохору вплотную. Сняла очки.

– Прохор Ильич. Если там внизу то, о чём мы думаем, – это самое важное, что вообще находили на этой планете. Если там не то – мы поднимемся и забудем. Но если мы сейчас уедем, а завтра трещина закроется – она может закрыться, они закрываются, – мы никогда не узнаем. Никогда. Понимаете?

Прохор долго смотрел на неё. Потом перевёл взгляд на трещину. Потом на Кныша.

– Сколько тебе нужно на установку?

– Часа три, – сказал Кныш.

– Делай.

Установка заняла не три часа, а пять. Лебёдку пришлось снимать с буровой мачты, тащить волоком на санях, ставить на распорку из стальных балок над трещиной, крепить к ледобурам, вкрученным в лёд по обе стороны. Блок, ролики, страховочный трос – второй, независимый, на ручной лебёдке, которую Ринат собрал из запасных частей за полтора часа, ругаясь и обжигая пальцы о мёрзлое железо. Люльку сделали из сиденья от старого вездехода, прикрученного к раме, – получилось что-то вроде качелей с бортиками. Сели вдвоём – Дарина и Арсений, впритык, плечом к плечу.

– Связь, – сказал Ринат, проверяя рации. – Каждые двадцать метров голос. Не ответили – тянем вверх, без разговоров.

– Понятно.

– Фонари. Запасные батареи. Ледорубы. Кошки. Свечка, – Арсений похлопал себя по карману. – Свечка есть.

Кныш стоял у лебёдки, положив руку на рычаг, как вчера у скважины.

– Медленно пойду, – сказал он. – Метр в три секунды. Это двадцать минут вниз. Если что – дёргайте за страховку и орите.

– Аким, – сказала Дарина. – Спасибо.

Он посмотрел на неё странно – как будто хотел что-то сказать, но передумал.

– Не за что ещё, – сказал он. – Вот вытащу – тогда.

Люлька качнулась и пошла вниз.

Первые двадцать метров были голубыми. Стены трещины светились изнутри дневным светом, который проходил сквозь лёд, и Дарина видела в них слои – тонкие, ровные, годовые, как в керне, только огромные, во всю высоту. Это было как спускаться внутрь книги, по корешку, мимо страниц. Каждая страница – год. Каждая строчка – снегопад.

– Двадцать, – сказала она в рацию.

– Слышу, – отозвался Ринат.

Дальше свет стал синим, потом тёмно-синим. Они включили фонари. Лёд в их свете был прозрачный, как стекло, и в глубине стен иногда мелькало что-то – пузырьки, тёмные точки пыли, однажды – крупное тёмное пятно, которое Дарина приняла за камень.

– Сорок.

– Слышу.

– Шестьдесят.

– Слышу.

Гул нарастал. Теперь его слышали оба, ясно, без сомнений. Он шёл снизу, ровный, низкий, и в нём было что-то живое – как будто под ними дышало что-то огромное и спящее.

Дарина поймала себя на том, что считает. Не метры – годы. Каждый слой в стене, который проплывал мимо её лица, был чьей-то зимой, чьим-то летом, хотя никого здесь не было, чтобы прожить эти зимы. Тысячу лет назад. Две тысячи. Три. Люлька скрипела на тросе, и этот скрип казался ей самым громким звуком на свете, громче гула, громче собственного сердца. Арсений сидел рядом, не шевелясь, и только дышал часто и мелко, как загнанный зверёк.

– Сто двадцать, – сказал Арсений, потому что Дарина замолчала.

– Слышу. Как вы?

– Холодно. Гудит.

– Гудит?

– Да. Громко.

– Хотите вверх?

– Нет.

Ниже двухсот метров стены трещины начали меняться. Слои в них перестали быть ровными. Они изгибались, рвались, сходились под углами, как пачка бумаги, которую уронили и собрали кое-как. Дарина водила фонарём по стенам и видела это: зима над летом, лето под зимой, тонкий слой пепла – и над ним, и под ним, дважды, трижды. Как в её графике. Как будто кто-то тасовал годы.

– Вот оно, – прошептала она. – Вот оно, Арсений. Видишь?

– Вижу.

– Это не складка. Это не смятие. Это...

– Перекладка, – сказал он. – Как вы вчера говорили.

На трёхсот восьмидесяти метрах люлька задела стену, и сверху посыпалась ледяная крошка, звонкая, как сахар. Дарина вжала голову в плечи. Арсений вцепился в раму.

– Стоп! – крикнула Дарина в рацию. – Стоп, Аким!

Люлька остановилась. Покачалась. Крошка перестала сыпаться.

– Что там? – голос Рината был тонкий от тревоги.

– Задели стенку. Всё нормально. Давай дальше. Ещё медленнее.

– Понял.

Люлька пошла снова. Трещина здесь сужалась, стены были совсем близко – можно было коснуться рукой с обеих сторон. Дарина и коснулась. Лёд был гладкий, ледяной – что ещё? – но ей показалось, что он чуть-чуть дрожит под перчаткой. В такт гулу.

А потом стены вдруг разошлись, и люлька повисла в пустоте.

Фонари ударили во тьму и ничего не нашли – ни стен, ни потолка, только их собственные лучи, теряющиеся в черноте. Холод был такой, что у Дарины перехватило дыхание. Гул заполнил всё – уши, голову, грудь.

– Мы в полости, – сказал Арсений, и голос его прозвучал странно – глухо, с долгим эхом, которое пришло откуда-то сверху и сбоку. – Мы внутри.

– Четыреста двадцать, – сказала Дарина в рацию. – Мы внутри. Опускай. Медленно.

Люлька пошла вниз. Пять метров. Десять. Тринадцать. Потом её днище со скрежетом коснулось чего-то твёрдого, и она остановилась, накренившись.

Дно.

Дарина вылезла первая. Ноги в кошках встали на лёд – неровный, бугристый, как застывшая рябь. Она повела фонарём вокруг.

Это был зал. Иначе нельзя было назвать. Широкий, высокий, с куполообразным сводом, в котором зияла узкая щель трещины, откуда они спустились. Стены его были не голубые и не синие, а тёмные, почти чёрные, гладкие, как полированный камень. Нигде не было ни сосулек, ни натёков – ничего. Как будто зал не образовался сам, а был вырезан, вылит, выплавлен.

– Здесь кто-то был, – прошептал Арсений.

– Не говори глупостей.

– Посмотрите на стены. Это не естественно.

– Всё естественно. Просто мы не знаем как.

Но голос у неё дрожал.

Они пошли вдоль стены, держась друг за друга. Лучи фонарей скользили по чёрному гладкому льду и возвращались бликами. Шли медленно, считая шаги. Двадцать. Тридцать. Гул стал сильнее, он шёл, казалось, от дальней, северной стены зала.

Дарина первая увидела, что северная стена другая. Она не была чёрной. Она была прозрачной.

Это была стена прозрачного льда – чистого, без единого пузырька, без единой трещинки, такого чистого, какого не бывает в природе, какой бывает только в лабораториях, когда воду замораживают очень медленно, по градусу в сутки. Стена шла от пола до свода, метров пятнадцать в высоту и двадцать в ширину. И свет фонаря проходил в неё глубоко, на несколько метров, и терялся там, в синеве.

– Арсений, – сказала Дарина тихо. – Посвети туда. Вместе со мной.

Они подняли фонари одновременно.

В глубине льда, метрах в двух от поверхности, стояли люди.

Их было семеро. Они стояли в ряд, не очень ровно, на разной глубине, – одни ближе, другие дальше, – как стоят люди на перроне, ожидая поезда. Как будто их застали на ходу и заморозили, не дав закончить шаг. Одни были чуть наклонены вперёд. Один – молодой, высокий, с краю – держал руку перед собой, ладонью вперёд, как будто упирался во что-то. Женщина в середине стояла прямо, с высоко поднятой головой, и седые волосы её разметались вокруг лица, застыв в воздухе, которого не было.

На них была одежда. Странная, гладкая, облегающая, серо-синего цвета, с тонкими светлыми полосами на груди и на рукавах. Без пуговиц, без молний, без швов, которые можно было бы разглядеть. На ногах – высокие ботинки, тоже гладкие, похожие на чулки с подошвами. У некоторых за спиной – что-то вроде плоских ранцев.

И у каждого – Дарина видела это даже отсюда, сквозь два метра льда, – на груди, слева, синим светилась нашивка.

Синим. Тем же синим, что и нитка в керне.

– Господи, – сказал Арсений. – Господи. Господи.

Рация на груди у Дарины затрещала.

– Дарина! Арсений! Двадцать метров прошло. Голос! Голос дайте!

Она подняла рацию к губам. Рука не слушалась.

– Ринат, – сказала она. – Мы на дне. Мы в порядке. Мы...

Она замолчала. Она не знала, что сказать. Не было таких слов.

– Что там? – Это был голос Прохора, он взял рацию у Рината. – Дарина, что там?

Она посмотрела на седую женщину в центре ряда. Лицо женщины было спокойное, старое, с глубокими морщинами у рта, с длинным тонким шрамом, который шёл через левую

бровь. Глаза были закрыты. Губы чуть приоткрыты, как будто она хотела что-то сказать – и не успела.

– Люди, – сказала Дарина в рацию. – Прохор Ильич. Здесь люди. Семь человек. Во льду.

Рация молчала долго. Так долго, что Дарина подумала, что связь пропала.

Потом Прохор сказал – очень тихо, очень ровно:

– Поднимайтесь. Сейчас же.

– Мы не...

– Сейчас же. Это приказ.

Дарина не двинулась с места. Она стояла и смотрела на шрам через бровь. Где-то она видела такой шрам. Где-то очень близко. Совсем недавно.

И только когда Арсений потянул её за рукав к люльке, она вспомнила где – и тут же прогнала эту мысль, потому что мысль была безумная.

Двенадцать лет назад на Памире, когда она падала вслед за Костей Ляховым в трещину и чудом зацепилась за край, ледяной гребень распорол ей лицо – вот здесь, через левую бровь. Шрам остался тонкий, почти незаметный. Она видела его каждое утро в зеркале.

Глава 4. Семеро

Табличку нашёл Арсений, на обратном пути к люльке, – просто потому, что споткнулся.

Он шёл, не глядя под ноги, всё время оборачиваясь на стену, и зацепился кошкой за бугор во льду. Упал на колени, выронил фонарь. Фонарь откатился, луч лёг низко над полом, вдоль, и в этом косом свете Дарина увидела, что бугор – не бугор. Это был ровный прямоугольник, чуть выступающий надо льдом, размером с большую книгу. Тёмный. Металлический.

Она опустилась на колени рядом с Арсением. Смахнула перчаткой иней.

Металл был серый, матовый, без ржавчины. Он был вморожен в лёд почти целиком – наружу торчал только верхний край, сантиметра на два. Но сквозь тонкую корку прозрачного льда над ним было видно, что на его поверхности что-то выбито. Буквы. Крупные, ровные, глубокие.

Дарина поднесла фонарь вплотную и прочитала вслух, медленно, по слову, потому что не верила глазам:

– «Ледяной архив». – Она передвинула луч ниже. – «Вскрыть в две тысячи двадцать девятом году». – Ещё ниже. – «На материк не сообщать».

Арсений сидел на льду и смотрел на табличку, открыв рот.

– Две тысячи двадцать девятый, – прошептал он. – Это же сейчас. Это же нам.

– Тихо.

– Это нам написано. Им кто-то сказал, что мы придём. Нет. Это они... они знали. Дарина Андреевна, они знали, что мы придём именно сейчас.

– Тихо, я сказала.

Под надписью было ещё что-то – строчка мельче, но её закрывал лёд, толстый, мутный у края. Дарина поскребла его ножом. Лёд не поддался. Она поскребла сильнее. Нож соскользнул.

Рация снова ожила.

– Дарина. – Голос Прохора был железный. – Я жду.

– Идём, – сказала она. – Идём, Прохор Ильич.

Она сфотографировала табличку – раз, другой, пятый. Потом встала, повернулась к стене и сфотографировала стену. Вспышка выхватила из синевы лица – на миг, белые, плоские, с чёрными провалами закрытых глаз. Арсений вздрогнул и отвернулся.

Наверх они поднимались двадцать пять минут. Всю дорогу молчали.

Когда люлька вышла из трещины на свет, Дарина зажмурилась – солнце, низкое, красное, било прямо в глаза. Наверху было тепло. Минус двадцать шесть, но после зала казалось – весна. Кныш остановил лебёдку, Ринат подтянул люльку к краю, протянул руку. Дарина вылезла, сделала два шага по снегу и села. Просто села, где стояла. Ноги не держали.

Прохор подошёл и встал над ней.

– Показывай.

Она отдала ему телефон.

Он смотрел долго. Листал туда-обратно. Увеличивал. Останавливался. Ринат заглядывал ему через плечо и что-то шептал, кажется, молитву, а может, ругательство. Кныш так и стоял у лебёдки, не подходил. Смотрел издали, на Прохора, на его лицо.

Прохор вернул телефон.

– Убираем всё, – сказал он. – Лебёдку оставляем. Чехлом накрыть, закрепить. Едем вниз.

– Прохор Ильич...

– Внизу поговорим.

Внизу говорили до полуночи.

Сначала Дарина показала фотографии всем – Лидии, Мартыну. Лидия смотрела на них с профессиональным, почти хищным интересом, приближая и отдаляя.

– Сохранность идеальная, – сказала она. – Кожа гладкая, без пятен. Ни признаков разложения, ни признаков высыхания. Как будто их заморозили мгновенно. Мгновенно – это значит быстрее, чем за минуту. Так не бывает. Человек в обычном холоде замерзает часами, кристаллы во льду растут, рвут ткани. А эти... эти как стеклянные.

– Сколько им лет? – спросил Ринат.

– Людям? Разные. Вот эта, седая, – за семьдесят. Вот этот, молодой, – лет двадцать пять, тридцать. Остальные – от сорока до шестидесяти.

– Я не про то. Сколько они там стоят?

Лидия пожала плечами и посмотрела на Дарину.

– Лёд вокруг них, – сказала Дарина, – должен быть того же возраста, что и стены зала. А зал на четырёхстах двадцати метрах. Это девять с половиной тысяч лет.

– Девять с половиной тысяч лет, – повторил Ринат. – Ну да. В такой одежде.

Мартын смотрел на фотографии молча, долго. Потом перекрестился – широко, по-старому – и ушёл за стойку, и там загремел кастрюлями, как будто хотел заглушить что-то.

Арсений тем временем вывел снимки на большой экран в столовой – старый телевизор, который почти ничего не ловил, зато показывал с флешки. На экране, в синеве, поплыли фигуры. Арсений нашёл самый чёткий снимок – с ближнего края, где стоял молодой мужчина с вытянутой рукой, – и увеличил грудь, нашивку.

Нашивка была круглая. По краю шла надпись, мелкая, но читаемая, синими буквами на сером: «Станция Ледораздел». В середине – знак.

Знак станции. Тот самый, что был нарисован на двери ангара, на вертолётной площадке, на кружках в столовой. Треугольник горы, под ним – волнистая линия, над ним – снежинка. Знак придумал кто-то из первых начальников станции двадцать лет назад, и с тех пор его рисовали везде. Только на нашивке гора была чуть другая – с двумя вершинами, а не с одной, – и снежинка была не шестилучевая, а восьмилучевая.

А под знаком – две строчки. Верхняя: «Перекат». Нижняя: «2068».

Цифры. Обычные цифры.

– Две тысячи шестьдесят восьмой, – сказал Арсений.

– Это может быть не год, – сказал Кныш из угла. Он весь вечер молчал и сидел отдельно, у двери. – Номер. Номер партии. Номер экспедиции.

– Номер две тысячи шестьдесят восемь?

– А почему нет?

– Аким, – тихо сказала Лидия. – Ты сам в это веришь?

Кныш не ответил.

– Это наша станция, – сказал Ринат. Он подошёл к экрану почти вплотную, ткнул пальцем. – Это наш знак. Ну, почти наш. Это наши люди. Наши люди из будущего, которые стоят во льду девять тысяч лет. Это что вообще такое? Это как вообще?

– Не знаю, – сказала Дарина. – Никто не знает.

– Прохор Ильич? – Ринат обернулся.

Прохор сидел во главе стола и смотрел на экран, не мигая. Он не сказал ни слова с тех пор, как они вернулись. Лицо у него было серое.

– Табличка, – сказал он наконец. – Покажи табличку.

Арсений переключил снимок. На экране возник серый прямоугольник под коркой льда, буквы, крупные, рубленые.

«Ледяной архив. Вскрыть в 2029 году. На материк не сообщать».

– «На материк не сообщать», – повторил Прохор. – Это нам.

– Нам, – сказала Дарина.

– А мы уже сообщили.

Все замолчали.

– Про нитку, – сказала Лидия. – Только про нитку. Про людей – нет.

– Про нитку, – согласился Прохор. – А ответ пришёл через два часа. Вместо недели. – Он повернулся к Ринату. – Ринат. Сегодня было что-нибудь?

Ринат побледнел.

– Я не проверял. Мы же весь день на куполе.

– Проверь.

Ринат ушёл в закуток связи. Его не было минут десять. За это время никто не сказал ни слова. Мартын перестал греметь кастрюлями. Где-то в модуле тикали часы.

Ринат вернулся с листом бумаги, который распечатал на старом принтере.

– Пришло в четырнадцать сорок, – сказал он. – Не из института. С другого адреса. Я такого адреса не знаю.

– Читай.

Ринат прочитал:

– «Станция Ледораздел. Начальнику станции Рындину П. И. В связи с поступившим сообщением о находке на скважине два предписывается: прекратить все буровые и полевые работы на куполе Тишина; обеспечить сохранность образцов; никаких сведений о находке не передавать третьим лицам, в том числе по линии института; ожидать прибытия комиссии. Сроки прибытия будут сообщены дополнительно. Подтвердить получение». – Он опустил лист. – Подписи нет. Только номер.

– Какой номер?

Ринат назвал. Длинный, с буквами.

Прохор закрыл глаза.

– Управление особых изысканий, – сказал он.

– Что это? – спросил Арсений.

– Это не институт, – сказал Прохор. – Это не наука. Это контора, которая занимается всем, что находят странного. Я служил с одним, кто потом туда ушёл. Он мне рассказывал. Немного. Они приезжают, всё забирают, все подписывают бумаги – и ничего не было.

– А как они узнали? – спросила Лидия. – Мы же отправили в институт.

– Институт обязан пересылать им всё аномальное. Это давно так. Просто обычно ничего аномального не бывает.

– Значит, институт переслал. За два часа.

– Значит, переслал.

– И что теперь? – спросил Арсений. – Мы же ничего плохого не сделали. Мы нашли... Это же открытие. Это же...

– Это не открытие, – сказал Кныш из угла. – Это проблема.

Все посмотрели на него. Он сидел, сгорбившись, сцепив руки на коленях. Лицо его было в тени.

– Нам велели прекратить, – сказал он. – Значит, прекращаем. Сидим и ждём комиссию. И не лезем. Всё.

– А табличка? – тихо спросила Дарина. – Там написано «вскрыть». Не «не трогать». «Вскрыть в двадцать девятом году». Это нам. Они хотели, чтобы мы вскрыли. Они это для нас сделали.

– Кто «они»?

– Они. Те, кто там стоит.

– Они мёртвые.

– Они положили табличку до того, как умерли.

– Да откуда ты знаешь?! – Кныш вдруг повысил голос, впервые за вечер. – Откуда ты знаешь, кто положил, когда положил, зачем? Может, это ловушка. Может, это вообще не люди. Может, они нас туда заманивают!

– Аким, – сказал Прохор.

Кныш замолчал. Встал. Постоял.

– Пойду спать, – сказал он. – Завтра поговорим.

И ушёл.

Когда за ним закрылась дверь, Лидия сказала задумчиво:

– Странно. Вчера он первый вызвался бурить.

– Вчера он ещё не видел, – сказал Мартын из-за стойки.

– Чего не видел?

– Лиц, – сказал Мартын.

После этого разговор пошёл кругами, как всегда бывает, когда никто ничего не знает, а молчать страшно.

– Ладно, – сказал Ринат. Он сел верхом на лавку, положил локти на стол. – Допустим. Допустим, они правда из будущего. Из шестьдесят восьмого. Тогда как они оказались на девять тысяч лет в прошлом? Промахнулись, что ли? Хотели к нам, а попали к мамонтам?

– Мамонтов тут не было, – машинально сказала Дарина. – Тут был лёд.

– Ну, к белым медведям.

– Может, и не промахнулись, – сказал Арсений. Глаза у него горели, усталости как не бывало. – Смотрите. Табличка же к нам обращается. Значит, они рассчитывали, что их найдут именно сейчас. А найти их можно только во льду. А лёд, чтобы стать таким, должен расти тысячи лет. Значит, им нужно было попасть в далёкое прошлое – чтобы лёд успел нарасти и сохранить их до нас. Это как... как письмо в бутылке. Только бутылка – ледник.

– Красиво, – сказала Лидия. – А зачем им такая бутылка, если можно просто прийти и сказать?

– Не знаю. Может, нельзя прийти. Может, прийти можно только туда, вниз.

– А мы тогда кто? Почтальоны?

– Адресаты, – сказал Арсений.

Ринат покрутил головой.

– А парадоксы? Ну, вот это всё – убил дедушку, сам не родился. Если они пришли что-то изменить, а потом изменили – то им незачем было приходить. А если незачем, то они не пришли. А если не пришли, то не изменили. И так по кругу. У меня от этого голова болит, честное слово.

– У всех болит, – сказал Арсений. – Это нормально. Это значит, мы чего-то не знаем про время.

– Мы про время вообще ничего не знаем, – подал голос Мартын из-за стойки. – Знаем, что оно идёт. А куда идёт, откуда – это кто его спрашивал.

– А вы бы что сделали, Мартын? – спросила Лидия. – Если бы это вам табличку написали?

Мартын вытер руки о фартук и вышел из-за стойки.

– Я бы спросил, кто писал, – сказал он. – Письмо без подписи – полписьма. Найдёте подпись – найдёте и ответ.

Он поставил на стол тарелку с нарезанным хлебом и ушёл к себе, не сказав больше ни слова.

Дарина просидела в столовой ещё долго, когда все уже разошлись. Перед ней на экране стоял тот самый снимок – стена, синева, семь фигур. Она смотрела на седую женщину в центре.

Шрам через бровь. Тонкий, почти незаметный. Его можно было и не заметить, если не знать, куда смотреть.

Она знала.

Дарина встала, подошла к зеркалу в умывальной, включила свет. Посмотрела на себя. Тридцать семь лет. Тёмные волосы, собранные в хвост. Обветренная кожа. Серые глаза, уста-

лые. И шрам – вот он, через левую бровь, тонкая белая линия, которая делала бровь чуть-чуть надломленной, как будто она всегда немного удивлялась.

Она вернулась к экрану. Увеличила лицо женщины. Пиксели расплылись. Шрам превратился в светлое пятно.

Шрамы через бровь бывают у многих. Это ничего не значит. Совпадение. Просто совпадение. Мало ли кто в будущем ударился бровью о лёд.

Будущее.

Она впервые подумала это слово всерьёз. Будущее. Не «из будущего», как в кино, не «как будто из будущего», а просто – будущее. Две тысячи шестьдесят восьмой год. Через тридцать девять лет. Ей будет семьдесят шесть.

Седой женщине во льду было за семьдесят.

Дарина выключила экран. Посидела в темноте.

Потом достала дневник и написала:

«Десятое апреля. Зал на глубине 420 м. Стена прозрачного льда, внутри – семь человек. Одежда неизвестного образца. Нашивки со знаком станции и надписями: "Перекат", "2068". Металлическая табличка: "Ледяной архив. Вскрыть в 2029 году. На материк не сообщать". Получено предписание от Управления особых изысканий: работы прекратить, ждать комиссию.

У женщины в центре шрам через левую бровь».

Последнюю строчку она хотела зачеркнуть, как вчера. Но не стала.

В коридоре скрипнула половица. Дарина подняла голову. В дверях столовой стоял Прохор – в той же безрукавке, без шапки, с кружкой чая.

– Не спишь, – сказал он.

– Не сплю.

Он вошёл, сел напротив. Поставил кружку между ними. Пар поднимался от неё медленно, ровно – в столовой не было сквозняка.

– Я подтвердил получение, – сказал он. – Полчаса назад.

– Я так и думала.

– Это приказ. Я не могу не подтвердить. У меня здесь шесть человек. Если я не подчинюсь – отвечать будут все.

– Я понимаю.

– Ничего ты не понимаешь. – Он сказал это без злости, устало. – Ты думаешь, я испугался. Я испугался, да. Только не за себя. Я с этими людьми уже встречался. Не с ними, с такими же. Они не злые. Они просто... им всё равно. Им всё равно, кто ты, что ты нашёл и что ты хотел. Им нужна находка. А ты – это то, что прилагается к находке. Как упаковка.

Дарина молчала.

– Табличка, – сказал Прохор. – «На материк не сообщать». Я об этом думаю весь вечер. Если это правда... если они правда оттуда... то они знали, что будет, если сообщить. Знали – и предупредили. А мы опоздали. На один день.

– На один день, – повторила Дарина.

– Это ведь я велел отправить.

– Вы не могли знать.

– Не мог. – Прохор отпил чаю. – А ты не отправила бы. Ты же говорила – подождём.

– Я говорила про полость.

– Про нитку тоже. Вчера утром. Ты сказала – засмеют. Я не послушал.

Он замолчал. Помолчал долго.

– Седая, – сказал он вдруг. – В середине. Я тоже видел шрам.

Дарина подняла на него глаза.

– Ничего не говори, – сказал Прохор. – Я ничего не спрашиваю. Я просто видел. Иди спать, Дарина Андреевна. Утром решим, что делать.

Он встал и ушёл, оставив кружку на столе.

Дарина посмотрела на неё. Пар над чаем больше не поднимался. Чай остыл.

Она поняла, что сидит здесь гораздо дольше, чем ей казалось. Часы на стене показывали половину третьего.

Она вымыла кружку, вытерла и поставила на полку, вверх дном, как ставил Мартын. Потом погасила свет и пошла по коридору к себе, мимо закрытых дверей, за которыми спали – или не спали – шесть человек, с которыми ей теперь предстояло решать то, чего не решал никто и никогда.

У себя она снова открыла снимок таблички. Под тремя крупными строчками, под мутным льдом у края, угадывалась четвёртая – мелкая. Несколько букв читались. «Д», потом пропуск, потом «А», потом что-то, похожее на точку. Подпись, подумала Дарина. Мартын прав. Письмо без подписи – полписьма.

Она выключила телефон, не дочитав. Ей не хотелось знать, чьи это инициалы. Пока.

Глава 5. Тёплые жилы

Утром Прохор собрал всех в столовой и сказал речь. Для Прохора это была очень длинная речь – минуты на три.

– Предписание у нас такое, – начал он, положив перед собой распечатку. – Прекратить буровые и полевые работы. Обеспечить сохранность образцов. Никому ничего не сообщать. Ждать комиссию. Я подтвердил. Значит, выполняем. Бурить не будем. Аким, буровую законсервировать.

Кныш кивнул, не поднимая глаз.

– Дальше, – продолжал Прохор. – Обеспечить сохранность. Что у нас образцы? Керн – на складе, в порядке. Нитка – в лаборатории, в порядке. А зал? Зал – тоже образец. Самый главный. Трещина открыта. Трещина может закрыться – Дарина говорит, что может. Если закроется, сохранять будет нечего. Значит, сохранность зала – это документировать зал. Фотографировать, мерить, описывать. Пока он есть.

Лидия подняла бровь.

– Прохор Ильич, вы это сейчас сами придумали или где-то прочитали?

– Сам. – Прохор посмотрел на неё без улыбки. – Я тридцать лет служил. Я знаю, как читать приказы. Приказ – это не то, что в нём написано. Приказ – это то, что в нём не запрещено.

– А если комиссия спросит?

– Комиссия спросит – я отвечу. Мы обеспечивали сохранность. Документировали. Никуда не передавали. Всё по букве.

– А на самом деле? – тихо спросила Дарина.

Прохор помолчал.

– А на самом деле я хочу знать, что там, – сказал он. – До того, как у нас это отберут. Потому что когда отберут, мы не узнаем никогда. И ещё – табличка. Там написано «вскрыть». Если это правда нам, я не хочу, чтобы её вскрывал кто-то другой, кто даже не поймёт, что это ему не написано.

Наступила тишина.

– Ну вы даёте, Прохор Ильич, – сказал Ринат с восхищением.

– Только аккуратно, – сказал Прохор. – Никакого бурения. Никаких разрушений. Смотрим, меряем, снимаем. Лидия, ты спускаешься.

– Я? – Лидия поперхнулась кофе. – Я врач, а не альпинист.

– Ты врач. Там люди. Мне нужно знать, что с ними. Ты единственная, кто это может сказать.

Лидия поставила кружку. Посмотрела на Прохора, на Дарину, на стену с отключённым телевизором.

– Ладно, – сказала она. – Только если я там умру, пусть Мартын на поминках сварит уху. Настоящую, тройную.

– Сварю, – серьёзно сказал Мартын. – Только ты не умирай. Рыбы нет.

Спускались втроём – Дарина, Лидия и Ринат. Арсений остался наверху у рации, страшно обиженный, но Прохор сказал, что двое уже видели, а Ринату нужно посмотреть своими приборами, и спорить было бесполезно. Ринат взял с собой тепловизор – старый, ещё армейский, в тяжёлом корпусе, который он нашёл на складе станции и когда-то отремонтировал «просто так, для души», – и дальномер, и маленькую метеостанцию на батарейках.

Кныш опять стоял у лебёдки. Он был молчалив, даже больше обычного, и Дарина заметила, что он не смотрит ей в глаза.

Люлька на троих была теснее, чем на двоих. Лидия сидела посередине, вцепившись в раму обеими руками, и всю дорогу вниз не открывала глаз.

– Скажите, когда будет дно, – сказала она. – Я не хочу видеть, как мы туда падаем.

– Мы не падаем. Нас опускают.

– Это вы так думаете.

На двухстах метрах она всё-таки открыла глаза, посмотрела на стены трещины, на перемешанные слои, и сказала тихо:

– Красиво.

– Красиво, – согласилась Дарина.

– Страшно и красиво. Как в операционной, когда грудную клетку открываешь. Всё внутри так устроено, что дух захватывает. И страшно – потому что живое.

В зале было так же холодно и так же гудело. Ринат первым выбрался из люльки, включил свою метеостанцию, посмотрел.

– Минус двадцать четыре, – сказал он. – Влажность почти ноль. Давление... ну, давление как на такой глубине. Ветра нет. Свечку зажжём?

– Зажги, – сказала Дарина.

Ринат достал свечку Мартына – Арсений отдал её ему перед спуском, с серьёзным видом, как передают знамя, – и зажёг. Пламя поднялось ровное, жёлтое, неподвижное. Потом дрогнуло. Потянулось в сторону – туда, к северной стене. Едва-едва.

– Тянет, – сказал Ринат. – К стене тянет.

– Сквозь лёд воздух не идёт.

– А тянет.

Лидия подошла к стене первая. Она шла медленно, осторожно ставя ноги в кошках, как старуха на гололёде, но шла. Остановилась в шаге от стены. Подняла фонарь.

Дарина видела, как изменилось её лицо. Не испуг – что-то другое. Сосредоточенность. Так врач смотрит на тяжёлого больного, когда уже решил, что будет бороться.

– Ближе свет, – сказала Лидия. – Дарина, сюда. Ринат, ты сзади, сбоку. Нужен косой свет.

Они встали, как она велела. Три луча сошлись на ближней фигуре – на молодом мужчине с вытянутой рукой.

Он был высокий, худой, с короткими светлыми волосами и тонким, почти мальчишеским лицом. Глаза закрыты. Брови сведены, как будто в последний миг ему было больно или трудно. Рука – правая – вытянута вперёд, пальцы растопырены, ладонь почти касается поверхности льда изнутри, в двух метрах от них. Как будто он хотел выйти. Или остановить что-то.

– Кожа без изменений, – сказала Лидия. Голос у неё стал сухой, деловой, как на обходе. – Цвет... цвет нормальный. Бледный, но нормальный. Не синюшный. Мертвец на морозе синеет, а потом белеет. А этот – просто бледный. Губы розоватые. Розоватые! Это невозможно.

– Почему?

– Потому что у мёртвых губы не розовые.

Она достала из кармана маленькую лупу, приложила к стене, прищурилась.

– Ресницы видно. На ресницах иней. Изнутри. Значит, лёд нарастал вокруг тёплого лица. Значит, он был тёплый, когда его заморозило.

– Все были тёплые, когда их заморозило, – сказал Ринат. – Они же были живые.

– Ты не понимаешь. Иней на ресницах бывает, когда дышишь. Когда выдыхаешь тёплое на холоде. Он дышал. Он дышал, когда лёд уже был вокруг.

Ринат ничего не ответил.

Лидия повела лупу ниже. Остановилась на груди, на нашивке. Потом ещё ниже, на животе, где ткань костюма плотно облегала тело. Остановилась.

– Свет уберите, – сказала она.

– Что?

– Фонари. Выключите. Все.

Они выключили. Зал провалился в черноту – такую плотную, что Дарина на миг перестала понимать, где верх, где низ, и схватилась за плечо Рината. Гул стал громче – или ей так показалось, потому что больше ничего не осталось.

А потом глаза привыкли, и она увидела.

В черноте, за стеной льда, тлели нити. Тонкие, едва различимые, бледно-голубые, как светлячки в траве. Они шли по костюму молодого мужчины – по рукам, по груди, по бокам, по ногам, – тонкой сетью, ветвясь и соединяясь, как кровеносные сосуды. Свет их был слабый, ровный, неживой и живой одновременно. Он чуть-чуть пульсировал – раз в несколько секунд становился ярче и снова гас.

– Жилы, – прошептала Лидия. – Как жилы.

– У других тоже? – спросил Ринат.

Дарина посмотрела дальше вдоль стены. У следующей фигуры – женщины лет сорока с короткой стрижкой – были видны такие же нити, но совсем тусклые, едва заметные, мёртвые. У третьей – тоже тусклые. У четвёртой, у пятой – ничего, просто тьма. У седой женщины в центре – Дарина долго вглядывалась – тоже ничего. Только у самого края, у молодого, нити светились по-настоящему.

– Только у него, – сказала она.

– Ринат, тепловизор, – сказала Лидия.

Ринат включил прибор. Экранчик засветился зелёным, отбросил на его лицо мертвенный отблеск. Он поднял тепловизор к стене, повёл.

– Ну? – не выдержала Лидия.

– Минус двадцать четыре, – сказал Ринат. – Минус двадцать четыре. Минус двадцать три. Минус двадцать четыре. – Он вёл прибор вдоль стены, от середины к краю. – Минус двадцать два. Минус девятнадцать...

Он замолчал. Опустил тепловизор.

– Что? – спросила Дарина.

– Минус два, – сказал Ринат. – Он минус два. Внутри льда. Двадцать градусов теплее, чем всё вокруг.

– Лёд при минус двух – уже почти вода, – сказала Дарина. – Он должен был подтаять вокруг него.

– Он и подтаял, – сказала Лидия. – Смотрите. Включите свет.

Включили. Лидия показала лупой на лёд вокруг фигуры молодого мужчины. Там, совсем близко к телу, на сантиметр-два, лёд был другой – не идеально прозрачный, а чуть мутный, с мелкими пузырьками, как будто его недавно растопили и он замёрз снова. Тонкая оболочка, кокон.

– Костюм греет, – сказала Лидия. – Едва-едва. Ровно настолько, чтобы не замёрзнуть совсем. Это... я читала про такое. Не про костюмы. Про лягушек.

– Про лягушек?

– Есть лягушки, которые зимуют замёрзшими. Сердце останавливается, дыхание останавливается, в теле лёд. А весной они оттаивают – и прыгают. Потому что у них в крови вещество, которое не даёт льду рвать клетки. И они замерзают не до конца. На грани. – Она обернулась к Дарине, и глаза у неё в свете фонаря были огромные. – Он на грани. Его держат на грани девять тысяч лет. Его не заморозили. Его законсервировали.

– Он живой? – спросил Ринат шёпотом.

– Я не знаю, – сказала Лидия. – Я не знаю, что такое «живой», когда речь о девяти тысячах лет. Но он не мёртвый. Это точно.

Дарина стояла и смотрела на молодое лицо за стеной. На сведённые брови. На руку, упёртую в лёд изнутри.

Он хотел выйти, подумала она. Он знал, что его будут искать. Он ждал.

– А остальные? – спросила она.

– Остальные – нет, – сказала Лидия, и голос её дрогнул впервые. – У остальных жилы погасли. Не знаю, когда. Может, сто лет назад. Может, тысячу. Может, сразу. Они мёртвые. Они просто очень хорошо сохранились.

Ринат прошёл с тепловизором вдоль всего ряда, медленно, туда и обратно. У всех остальных – минус двадцать четыре. Ровно как лёд.

Потом они фотографировали. Ринат мерил. Дарина описывала – вслух, в рацию, Арсению наверх, а тот записывал. Каждую фигуру по очереди. Рост, примерный возраст, положение тела, одежда, что видно на нашивках. На нашивках было видно разное: у одних, кроме знака станции и надписей «Перекат» и «2068», была ещё строчка – фамилия, мелкими буквами. Дарина прочитала три: «Сагитов Д.», «Чекмарёва О.», «Ильин Н.» У молодого – не прочитать, слишком близко к краю, слишком мутный кокон. У седой женщины нашивка была развёрнута боком, и надпись на ней уходила в тень.

Табличку они снова осмотрели в самом конце, когда уже собирались подниматься. Ринат догадался направить на неё тепло от своей горелки – не близко, издали, чтобы только чуть подтопить мутную корку у края. Лёд потёк, стал прозрачнее. Нижняя строчка, мелкая, проступила.

Это была подпись. Всего три буквы, с точками, выбитые так же глубоко, как и всё остальное:

«Д. А. В.»

Дарина стояла и смотрела на них. Ринат что-то говорил – она не слышала. Лидия тронула её за локоть – она не почувствовала.

Д. А. В.

Дарина Андреевна Вербицкая.

Или кто угодно. Дмитрий Алексеевич Воронов. Дина Аркадьевна Волкова. Мало ли. Тысячи людей. Миллионы.

– Дарина, – сказала Лидия громко, прямо ей в ухо. – Пошли. Хватит.

Она пошла.

В люльке, на подъёме, Лидия держала её за руку. Просто держала, молча, сухой холодной ладонью в перчатке. Ринат смотрел в стену трещины и шевелил губами, как будто считал слои.

На двухстах метрах Лидия вдруг сказала:

– Он не продержится.

– Кто?

– Молодой. Жилы слабые. Свет мигает неровно. Я не знаю, сколько им осталось, но если бы это был мой пациент на мониторе, я бы сказала – часы. Может, дни. Не недели.

– И что?

– Его надо вынимать, – сказала Лидия. – Сейчас. Пока ещё есть кого вынимать.

– Комиссия... – начал Ринат.

– Комиссия, – сказала Лидия, – это люди, которые приедут через неделю и будут три дня спорить, как оформить протокол. А он умрёт через три дня. Я врач. Мне плевать на протокол. Мне не плевать, когда человек умирает у меня на глазах, а я стою и смотрю.

– Девять тысяч лет он как-то продержался, – сказал Ринат.

– Девять тысяч лет он ждал, – сказала Лидия. – А теперь дождался. И силы кончаются. Так бывает с людьми, Ринат. Дотянут до вертолёта – и умирают на носилках. Потому что уже можно.

Люлька вышла на свет.

Наверху их ждали все – даже Мартын приехал, на снегоходе Прохора, с термосом. Арсений бросился к краю, помогать. Кныш стоял у лебёдки, как всегда. Прохор – чуть в стороне.

– Ну? – спросил он.

Лидия вылезла из люльки, сделала два шага, сняла маску. Лицо у неё было белое, с красными пятнами от мороза.

– Прохор Ильич, – сказала она. – Там живой. Один. С краю. Если мы его не вытащим в ближайшие сутки-двое, он умрёт. Я отвечаю.

Прохор смотрел на неё долго.

– Вытащить – это бурить, – сказал Кныш от лебёдки. Голос у него был хриплый. – Это резать лёд. Это нарушение предписания.

– Это спасение человека, – сказала Лидия.

– Человека? – Кныш шагнул вперёд. – Ты уверена, что это человек?

– Да, – сказала Лидия. – Абсолютно.

– А я – нет.

– Тогда иди и посмотри сам.

Кныш не ответил. Отвернулся. Пошёл к лебёдке, начал сматывать страховочный трос – резко, быстро, рывками.

Прохор посмотрел на Дарину.

– Подпись на табличке прочитали, – сказала Дарина. Голос её был ровный, чужой. – Три буквы. «Д. А. В.»

Прохор молчал.

Мартын подошёл, налил из термоса чаю, сунул кружку Дарине в руки. Она взяла. Чай был горячий, сладкий, с чабрецом. Руки у неё дрожали так, что половина пролилась на снег и прожгла в нём тёмные дырочки.

– Подпись нашлась, – сказал Мартын тихо, только ей. – Я же говорил.

– Говорили.

– Теперь ответ ищи.

Прохор стоял над трещиной и смотрел в неё. Ветер шевелил его седой ёжик. Солнце висело низко, красное, и тень Прохора, длинная, синяя, падала прямо в трещину и уходила туда, вниз, в темноту.

– Завтра, – сказал он наконец. – Всё решим завтра. Едем вниз.

Никто не двинулся.

– Едем вниз, – повторил он громче.

И они поехали.

Ночью Дарина опять не спала. Около двух она вышла в коридор налить воды и увидела, что дверь в ангар приоткрыта и оттуда тянет холодом. В ангаре кто-то был. Она слышала голос – низкий, приглушённый, с долгими паузами, как бывает, когда человек говорит по телефону и слушает ответ.

Она подошла ближе, ступая по линолеуму в шерстяных носках, бесшумно. Заглянула в щель.

В глубине ангара, у вездехода, в тусклом свете переноски стоял Кныш. Спиной к ней. В руке у него была толстая чёрная трубка спутникового телефона с короткой антенной – не станционного, станционный висел у Рината в закутке и был жёлтый. Этот был другой. Свой.

– ...нет, – говорил Кныш тихо. – Нет. Один. С краю. Врач говорит, живой... Не знаю. Завтра решат. Начальник пока не решил... Да. Понял. Да.

Пауза.

– А дочь? – сказал Кныш совсем другим голосом, глухим, будто через силу. – Вы обещали... Да. Понял. Я понял.

Он опустил трубку. Постоял. Потом медленно сложил антенну и сунул телефон во внутренний карман комбинезона, висевшего на крюке у вездехода.

Дарина отступила от двери. Вернулась к себе тем же бесшумным шагом, легла и уставилась в потолок.

Может, он звонил дочери, подумала она. Может, в Мурманск, бывшей жене, или кредиторам, или кому угодно. У каждого здесь своя жизнь, свои долги, свои ночные звонки. Это не её дело.

«Врач говорит, живой». Кому, в Мурманске, нужно знать, что говорит врач?

За стеной ровно гудел генератор. В окне, за двойным стеклом, стояли серые весенние сумерки – ночи здесь уже почти не было, только долгий полусвет, в котором всё казалось ненастоящим, как на старой выцветшей фотографии. Она пролежала до утра, глядя в потолок, и решила пока никому не говорить. Ни Прохору, ни Лидии. Сначала надо было понять. Сначала надо было вытащить живого.

Она ещё не знала, что эта ночь будет стоить им трёх дней.

Глава 6. Вырезать

– Голосовать не будем, – сказал Прохор утром. – Это не собрание жильцов. Решаю я.

Он стоял у торца стола, опершись на него обеими руками, и все сидели перед ним, как школьники. Даже Мартын вышел из-за стойки и сел на край лавки, сложив на коленях огромные синие руки.

– Но сначала хочу услышать. Каждого. Коротко. Лидия.

– Вынимать, – сказала Лидия. – Сегодня. Я всё сказала вчера.

– Ринат.

– Вынимать. – Ринат пожал плечами. – Я не врач, но я видел, как эти жилы мигают. Это как аккумулятор на морозе. Сначала мигает, потом гаснет. Я бы вынимал.

– Арсений.

– Вынимать! – Арсений почти подпрыгнул. – Конечно, вынимать! Это же...

– Коротко.

– Вынимать.

– Мартын.

Мартын помолчал.

– Живого во льду не оставляют, – сказал он. – Мёртвых – можно. Живого – грех.

– Аким.

Кныш сидел, глядя в стол. Под глазами у него были тёмные круги – Дарина знала почему, но промолчала.

– Нет, – сказал он.

– Почему?

– Потому что приказ. Потому что мы не знаем, что это. Потому что если мы его вынем и он умрёт у нас на руках – отвечать будем мы. А если вынем и он не умрёт – тоже отвечать будем мы. Потому что комиссия приедет и спросит, кто разрешил. И вы скажете – я. А я, Прохор Ильич, человек маленький, у меня дочь, мне в тюрьму нельзя.

– Тебе никто не говорит – в тюрьму.

– Это сейчас никто не говорит.

Прохор посмотрел на него долго.

– Дарина.

Дарина подняла голову.

– Вынимать, – сказала она. – И ещё. Если кто-то будет отвечать – это буду я. Я нашла нитку. Я настояла на спуске. Я напишу, что это было моё решение. Мне не жалко.

– Это не твоё решение, – сказал Прохор. – Это моё. Вынимаем.

Он выпрямился.

– Аким. Можешь отказаться. Я пойму. Тогда за лебёдку встанет Ринат.

– Ринат с лебёдкой не справится, – сказал Кныш. – Это не снегоход. Там с грузом на четырёхстах метрах надо чувствовать. Угробите и его, и себя.

– Тогда что?

Кныш долго молчал. Потом поднял глаза – светлые, почти белые, усталые.

– Я встану, – сказал он. – Только пусть будет записано, что я был против.

– Будет записано.

– И ещё. Лёд резать надо горячей водой. Пилой там не возьмёшь, долго, и трясёт. А горячая вода – мягко. У меня есть термобур, для оттайки скважин. Шланг на шестьсот метров. Котёл на санях. Это часов пять поставить. И часов десять резать. Если повезёт.

– Пятнадцать часов, – сказала Лидия. – Он продержится пятнадцать часов?

– Не знаю, – сказал Кныш. – Это у тебя спрашивать надо.

– Продержится, – сказала Лидия. Но по лицу её было видно, что она не знает.

Поднимались на купол караваном – все три снегохода и вездеход, который Ринат с утра прогрел и завёл, ругаясь на солярку. На санях за вездеходом ехал котёл термобура – большой, ржавый, похожий на паровозную топку, – с баками воды, с горелкой, с насосом. Бухта шланга, толстого, красного, в оплётке, лежала отдельно, на вторых санях, и весила, по словам Кныша, как хорошая корова.

Мартын остался на станции – у связи. Это был первый раз, когда он садился за рацию, и Ринат перед отъездом минут двадцать показывал ему, какую кнопку нажимать, а какую не трогать ни за что на свете.

– Если придёт что-нибудь с материка, – сказал Прохор Мартыну, – не отвечай. Скажи – начальник на объекте, будет вечером.

– А если спросят, на каком объекте?

– Скажи – на метеоплощадке. Ветер мерит.

– Врать, значит.

– Не врать. Ветер я тоже мерю.

Мартын хмыкнул, но кивнул.

На куполе было ясно и морозно, минус двадцать девять. Солнце висело выше, чем вчера, и снег сиял так, что без очков нельзя было открыть глаз. Трещина за ночь не изменилась – те же острые голубые края, та же чернота внизу, тот же тихий гул из глубины, который теперь, казалось, слышали все, даже Кныш, хотя он и не признавался.

Котёл поставили в десяти метрах от края. Ринат с Кнышем возились с ним два часа: разжигали горелку, проверяли насос, грели воду. Вода в баках была с вечера, но за ночь покрылась ледяной коркой, её пришлось колоть ломом и топить. Потом Кныш долго, придирчиво разматывал шланг, проверяя каждое соединение, каждую муфту. На конце шланга был наконечник – длинная латунная трубка с соплом, похожая на копьё.

– Вода пойдёт под давлением, – объяснял он Дарине. – Девяносто градусов на выходе. Пока дойдёт до низа – остынет до семидесяти. Этого хватит. Ведёшь копьём вдоль, как ножом, и лёд тает. Медленно. Сантиметр за минуту, если хорошо. Чем ближе к нему – тем медленнее. Близко к телу горячим нельзя, сваришь.

– Как близко?

– Это Лидия скажет.

– Пятнадцать сантиметров, – сказала Лидия. – Не ближе. Кокон вокруг него – сантиметра два. Потом ещё десять льда для запаса. Дальше – ничего. Ничего горячего.

– Тогда у нас блок будет... – Кныш прикинул, шевеля губами, – метр восемьдесят пять на восемьдесят на шестьдесят. Почти тонна. Лебёдка тонну возьмёт, но впритык. И трос. Если трос лопнет на четырёхстах метрах – там ничего не останется, ни его, ни того, кто внизу.

– Внизу никого не будет, когда поднимаем, – сказал Прохор.

– Кто-то должен будет крепить.

– Кто крепит – поднимается первым. Потом поднимаем блок.

– Тогда долго.

– Тогда долго, – согласился Прохор.

Вниз спустились Дарина и Кныш. Это решилось само собой: Кныш – потому что копьё должен вести тот, кто умеет, а Дарина – потому что она знала лёд, видела его слои и могла сказать, где он крепкий, а где нет. Лидия хотела спуститься с ними, но Прохор не пустил: «Ты нам наверху нужна, когда поднимем. Если там тебя завалит – кто его будет лечить?» Арсений хотел спуститься – его тоже не пустили. Он остался у радара, следить, не идут ли во льду новые трещины.

Люлька пошла вниз, за ней – красный шланг, медленно сползая с бухты, как бесконечная змея.

Внизу было всё так же – холод, гул, чернота. Кныш выбрался из люльки, огляделся, посветил фонарём по стенам, по своду. Долго молчал. Потом сказал:

– Ну.

И больше ничего.

Они подошли к стене. Кныш встал перед молодым мужчиной – прямо перед ним, лицом к лицу, через два метра льда – и смотрел на него долго, минуты две. Дарина ждала. Она видела, как ходят желваки у Кныша на щеках.

– Совсем пацан, – сказал он наконец. – Моложе моей Алёнки ненамного.

– Ей сколько?

– Двадцать два.

– Этому – лет двадцать семь.

– Всё равно пацан.

Он отошёл, взял копьё, проверил наконечник. Сказал в рацию:

– Давай воду.

Наверху Ринат открыл кран. Шланг дрогнул, напрягся, зашипел. Из сопла сначала пошёл пар, потом струя – тонкая, злая, курящаяся. Там, где она касалась пола, лёд шипел, проседал, исходил белым облаком.

Кныш начал резать.

Он работал медленно, без суеты, как будто это была обычная скважина, обычный день. Вёл копьё по льду, на расстоянии ладони от поверхности, и лёд таял перед ним, расступался узкой щелью. Пар валил клубами, оседал инеем на их одежде, на ресницах, на стенах. Вода стекала вниз, к полу, и там, в выемке, собиралась в лужу, которая тут же начинала замерзать по краям. Дарина отводила её – выдалбливала ледорубом канавку, по которой вода уходила к южной стене зала.

Через час щель ушла в стену на метр. Через два – на полтора. Через три Кныш сказал:

– Стоп. Тут другой лёд.

Дарина посветила. Щель упёрлась в стену прозрачного льда – той самой, идеально чистой, без единого пузырька, – и здесь вода таяла его медленнее, гораздо медленнее, как будто это был не лёд, а стекло.

– Плотный, – сказал Кныш. – Как камень.

– Это не природный лёд, – сказала Дарина. – Природный так не замерзает. Его сделали.

– Кто?

– Те, кто это строил.

Кныш посмотрел на неё через пар, но ничего не сказал. Только сильнее прибавил воды.

Шли часы. Дарина потеряла им счёт. Она отводила воду, светила, держала шланг, когда Кныш уставал и менял руку, подавала ему чай из термоса, который им спустили отдельно в мешке. Каждые двадцать минут докладывала наверх: глубина реза, расстояние до тела, состояние жил.

Жилы светились. Дарина выключала фонарь каждые полчаса и смотрела на них. Голубые нити на костюме, пульсирующие, тонкие. Они светились – но с каждым разом, ей казалось, всё тусклее. Или ей казалось? Она не могла сказать наверняка. Она сказала Лидии, и Лидия ответила сухо:

– Быстрее нельзя?

– Нельзя, – сказал Кныш в рацию сам, не дожидаясь Дарины. – Быстрее – сварю.

К вечеру – по часам, потому что здесь, внизу, не было никакого вечера, – они вырезали в стене нишу. Она шла сверху, сбоку и снизу, три стороны, и только сзади блок ещё держался, сросшийся со стеной. В нише стоял он – молодой мужчина с вытянутой рукой, в коконе мутного льда, в толще ещё десяти-пятнадцати сантиметров прозрачного.

– Задник, – сказал Кныш, вытирая лицо рукавом. Лицо у него было багровое от пара и мокрое. – Задник самый трудный. Сзади не подлезешь. Надо снизу и сверху, навстречу, и чтобы сошлось.

– А если не сойдётся?

– Тогда он упадёт. Вперёд. На нас.

– Тонна?

– Тонна.

Дарина отошла от ниши и посмотрела вверх, туда, где в своде черной щелью темнела трещина. Наверху сейчас были люди, которые ждали. Наверху было солнце. А здесь – лёд, пар, гул и двое смертельно уставших людей перед тонной льда, внутри которой, может быть, ещё жил человек.

Двенадцать лет назад она уже так стояла – перед стеной льда, за которой был человек. Только тогда она не могла ничего сделать.

– Давай я, – сказала она.

– Что?

– Давай я буду держать копьё. Ты устал. У тебя руки трясутся.

Кныш посмотрел на свои руки. Они правда тряслись – мелко, от усталости и от холода, от многих часов с тяжёлым дрожащим шлангом.

– Ты не умеешь.

– Ты мне скажешь.

Он долго молчал. Потом протянул ей копьё.

– Держи ровно. Не дави. Вода сама работает. Ты только веди. Как пером. Чувствуешь, где мягко, – туда. Где твёрдо – жди.

Она взяла. Копьё было тяжёлое, горячее даже сквозь перчатку, и билось в руках, как живое. Струя шипела. Пар бил в лицо.

Она вела копьё снизу, от пола, по задней стороне блока, а Кныш стоял рядом, положив руку ей на плечо, и говорил: «Ровнее. Ещё. Стой. Жди. Теперь веди». Его голос был спокойный, тихий, почти ласковый, как у отца, который учит дочь кататься на велосипеде. Дарина не ожидала от него такого голоса.

Через час он забрал копьё и повёл сверху, навстречу. Ещё через сорок минут вода прорвалась насквозь – струя ударила из щели внизу, там, где резала Дарина.

– Сошлось, – сказал Кныш. И сел на лёд.

Блок стоял в нише. Свободный. Держался только на собственном весе и на тонком ледяном ребре у основания, которое Кныш оставил специально, чтобы блок не завалился раньше времени.

– Теперь крепить, – сказал Кныш, не вставая. – Стропы. Под низ, крест-накрест, и через верх. И распорки, чтоб не раздавить. Я покажу.

Крепили ещё два часа. Наверху Ринат и Прохор подали вниз стропы, деревянные щиты, войлок – чтобы обернуть блок, чтобы трос не резал лёд. Кныш руководил, Дарина делала. Когда всё было готово, блок стоял в нише, укутанный, как огромная кукла, в сетке строп, и верхняя петля была зацеплена за крюк основного троса.

– Теперь – наверх, – сказал Кныш. – Ты первая.

– А ты?

– А я внизу. Если ребро не отломится само – надо будет подрубить. Без меня не отломится.

– Аким, это опасно.

– Это всё опасно. – Он махнул рукой. – Иди, говорю.

Дарина поднялась в люльке одна. Это было долго – двадцать пять минут вверх, одна, в темноте, мимо перемешанных слоёв, и всю дорогу она думала о Кныше внизу, о ночном звонке, о его словах «вы обещали», о его руке на её плече.

Наверху была ночь – бледная, серая весенняя ночь, когда солнце уходило за горизонт ненадолго и неглубоко. Лидия обняла её и тут же, не отпуская, спросила:

– Жилы?

– Светятся. Слабо.

– Насколько слабо?

– Не знаю, Лидия Марковна. Слабо.

Люльку опустили обратно, за Кнышем. Потом – долгие минуты тишины. Рация трещала. Кныш внизу что-то делал, дышал тяжело, ругался. Потом раздался треск – звонкий, громкий, слышный даже здесь, наверху, через четыреста метров льда, – и голос Кныша:

– Отломилось. Пошёл. Тяните. Медленно, Ринат, медленно, родной. Как ребёнка.

Ринат включил лебёдку. Трос дрогнул, напрягся, загудел. Лебёдка взвыла – не так, как с керном, а тяжело, натужно, на пределе. Цифры на табло поползли вниз, очень медленно.

– Четыреста двадцать... четыреста девятнадцать...

– Висит, – сказал Кныш снизу. – Висит, не крутится. Пошёл в трещину. Всё, я его больше не вижу.

– Поднимайся сам, – сказал Прохор.

– Нельзя. Люлька и блок на одном тросе не пойдут. Сначала его. Потом меня.

– Аким...

– Тяните, говорю.

Блок поднимали два часа. Два часа никто не сказал ни слова, кроме Рината, который называл цифры. Все стояли у края трещины и смотрели вниз, в темноту, откуда медленно, сантиметр за сантиметром, поднималось что-то, чего никто не мог видеть. Лебёдка ревела. Трос звенел. Один раз блок задел стену – трещина отозвалась гулом, и сверху посыпалась ледяная пыль. Ринат остановил лебёдку. Прохор сказал: «Дальше». Ринат включил снова.

Дарина стояла и думала: если трос сейчас лопнет, внизу Кныш. Тонна льда упадёт прямо на него.

Трос не лопнул.

Блок вышел из трещины в пять утра – огромный, укутанный в войлок, в паутине строп, с которого стекала и тут же замерзала вода. Его вытянули на край, опустили на сани, подложив щиты. Лидия бросилась к нему, рванула войлок, прижалась лицом ко льду.

– Свет! – крикнула она. – Выключите все фонари! И фары!

Выключили. Серый рассвет. Белый лёд. И внутри льда, в глубине, едва-едва различимые в полусвете, бледно-голубые нити на тёмном костюме. Мигающие. Раз. Пауза. Раз. Длинная пауза. Раз.

– Живой, – сказала Лидия. – Ещё живой. Быстрее. Вниз. В медблок.

– А Аким? – спросила Дарина.

Все обернулись к трещине.

Люльку подняли через полчаса. Кныш сидел в ней, привалившись к раме, мокрый, обледеневший, с белым от инея лицом, и спал. Просто спал. Его пришлось будить, вынимать, как ребёнка, и он ничего не понимал, только бормотал что-то про Алёнку и про ребро.

Прохор сам снял с него обледеневшую куртку, надел свою, сухую, и долго держал руку у него на плече.

– Спасибо, Аким, – сказал он.

Кныш открыл глаза, посмотрел на него мутно.

– Записали? – спросил он. – Что я был против?

– Записали, – сказал Прохор.

– Хорошо, – сказал Кныш и снова закрыл глаза.

Вниз ехали медленно, как похоронная процессия. Вездеход тянул сани с блоком на самой малой скорости, Ринат вёл его, не отрывая глаз от застругов, объезжая каждый бугор. Лидия сидела на санях рядом с блоком, обхватив его рукой поверх войлока, и каждые пять минут приподнимала край, заглядывала внутрь, в синеву, и шевелила губами – считала. Дарина ехала на снегоходе сзади и видела её спину, сгорбленную, маленькую, в огромной куртке.

Мартын встретил их у ангара. Он не спал всю ночь – это было видно по лицу, – и в руках у него было ведро с горячей водой, от которого шёл пар.

– Это зачем? – спросил Арсений.

– Не знаю, – сказал Мартын. – Подумал – пригодится.

В медблоке Лидия уже распорядилась ещё с вечера, по рации: койку отодвинули к стене, на её место поставили большую жестяную ванну, в которой Мартын обычно солил рыбу, когда рыба была, – вымытую, выскобленную, застеленную простынёй. Батареи выкрутили на минимум. Окно открыли настежь.

Блок вносили вшестером, на щитах, на руках, через двери ангара, по переходу, и в самом узком месте, у раздевалки, он застрял, и пришлось снимать дверь с петель. Арсений придерживал угол и шептал: «Осторожно, осторожно», – так, будто внутри был не человек во льду, а хрустальная ваза.

Наконец блок встал в ванну. Лидия сорвала с него войлок.

В утреннем свете, в маленькой белой комнате с открытым окном, лёд был совсем другим, чем внизу. Он был прозрачный и светлый, и человек внутри казался ближе, совсем близко, почти на поверхности. Вытянутая рука. Сведённые брови. Светлые волосы.

– Все вон, – сказала Лидия. – Кроме Дарины. Мне нужен один помощник, а не толпа.

Они вышли. Последним, задержавшись в дверях, вышел Прохор. Он долго смотрел на лицо во льду, и на его собственном лице было что-то странное, чего Дарина раньше не видела. Как будто он пытался что-то вспомнить и не мог.

Глава 7. Оттаивание

– Медленно, – сказала Лидия. – Это главное слово на сегодня. Медленно. Если кто-нибудь при мне скажет «быстрее», я его выгоню. Даже если это будет Прохор.

Она стояла над ванной, засучив рукава свитера с оленями до локтей, и смотрела на блок так, как, наверное, смотрела когда-то на операционный стол, – прикидывая, с какой стороны начинать. Дарина стояла рядом. На столе у стены Лидия разложила всё, что у неё было: термометры, стетоскоп, тонометр, шприцы, ампулы, капельницу, кислородную подушку, ножницы, скальпели, бинты, грелки, одеяла. Кардиомонитор – старенький, переносной, с зелёным экранчиком – стоял на тумбочке и пока показывал ровную линию.

– Что вы знаете про оттаивание замёрзших? – спросила Дарина.

– Всё, что можно знать по учебникам, и ничего – по опыту. – Лидия взяла термометр, сунула его щупом в щель между льдом и стенкой ванны. – Когда человека находят в снегу замёрзшего, его греют. Медленно. Потому что если греть быстро, холодная кровь из рук и ног хлынет к сердцу, и сердце остановится. Это называется «смерть после спасения». Бывает часто. Обидно до слёз.

– А тут?

– А тут я не знаю, что тут. Тут человек, который девять тысяч лет был в состоянии лягушки. Может, его надо греть по градусу в час. Может, по градусу в сутки. Может, его вообще не надо греть, а надо ждать, пока он сам. – Она посмотрела на Дарину. – Я буду делать то, что подсказывает здравый смысл. Здравый смысл подсказывает – медленно. Комната сейчас минус пять. Через час будет минус четыре. И так далее. Лёд будет таять сверху, мы будем убирать воду. Когда дойдём до кокона – там посмотрим.

– Это сколько часов?

– Много.

Окно оставили приоткрытым. В комнате было холодно, изо рта шёл пар. Лидия поставила обогреватель в угол, на самый слабый режим, и повесила на стену термометр, большой, уличный, с красным столбиком.

Они начали.

Работа была скучная, монотонная, как всякая настоящая работа. Лёд таял медленно. Вода стекала в ванну, собиралась на дне, и каждые полчаса её надо было вычерпывать ковшом в ведро, а ведро выносить в умывальную. Дарина вычерпывала. Лидия смотрела, мерила, записывала в тетрадь. Каждый час обогреватель поднимал температуру в комнате на градус.

Блок уменьшался. Сначала незаметно, потом всё быстрее. Острые края, оставленные копьём Кныша, оплыли и скруглились. Поверхность стала гладкой, мокрой, блестящей. Фигура внутри с каждым часом становилась ближе, отчётливей, как будто поднималась к поверхности из глубокой воды.

Около полудня в дверь постучали. Заглянул Мартын с подносом – две тарелки супа, хлеб, две кружки чая.

– Есть надо, – сказал он. – Без еды руки дрожат.

– Мартын, нам некогда, – сказала Лидия.

– Ему тоже некогда было девять тысяч лет. А подождал.

Лидия посмотрела на Мартына, потом на суп, потом махнула рукой.

– Ставь.

Они ели стоя, у окна, не отрывая глаз от ванны. Мартын не уходил. Он стоял в дверях и смотрел на лёд.

– Красивый парень, – сказал он наконец. – На кого-то похож.

– На кого? – спросила Дарина.

– Не знаю. На кого-то. Лицо знакомое.

– Вам все лица знакомые, – сказала Лидия. – Вы сорок лет в море ходили, у вас в голове пол-России.

– Может, и так, – согласился Мартын. Но не ушёл.

Он стоял ещё минут пять, а потом сказал вдруг:

– На Прохора похож.

Лидия перестала жевать. Дарина посмотрела на лицо во льду.

Тонкий нос. Светлые волосы – у Прохора седые, а в молодости, наверное, были светлые. Высокие скулы. Широкий упрямый подбородок с ямочкой. Брови – прямые, густые, сведённые к переносице.

– Совпадение, – сказала Лидия. – Половина русских мужиков похожа на Прохора. Тот же типаж. Северный.

– Может, и так, – повторил Мартын. И ушёл, забрав пустые тарелки.

Лидия и Дарина посмотрели друг на друга и ничего не сказали.

Часа в три заглянул Прохор. Постоял у порога, не входя, – Лидия запретила входить всем, кроме Мартына с едой, – и спросил, как дела. Лидия ответила, что дела идут медленно, как и положено. Прохор кивнул. Но не ушёл. Он смотрел на лёд, и Дарина, вычерпывая воду, видела краем глаза его лицо – напряжённое, неподвижное.

– Прохор Ильич, – сказала она, чтобы что-то сказать. – У вас дети есть?

Он перевёл на неё глаза.

– Сын, – сказал он после паузы. – Глеб.

– Сколько ему?

– Тридцать четыре.

– Где он?

– В Архангельске. Был. Не знаю, где сейчас. – Прохор помолчал. – Мы не разговариваем. Восемь лет.

– Почему?

Лидия кашлянула предостерегающе, но Прохор ответил, ровно, как докладывал бы о погоде:

– Мать его болела. Долго. Я был на Таймыре, на станции. Не приехал вовремя. Думал – успею. Не успел. Он мне этого не простил. И правильно.

Он сказал это и сам, кажется, удивился, что сказал. Повернулся и ушёл, не прощаясь. Дверь закрылась тихо.

– Вот так, – сказала Лидия негромко. – Четыре месяца молчал, а тут – на тебе. Это лёд на всех действует. Как исповедальня.

Дарина ничего не ответила. Она думала о том, что Прохор сказал «думал – успею». И о том, что сама говорила Косте Ляхову: «Успеем».

К вечеру температура в комнате дошла до нуля. Блок к этому времени стал вдвое меньше. Он больше не был блоком – это была оболочка, неровная, бугристая, толщиной в ладонь, а местами и меньше, сквозь которую человек был виден почти как сквозь стекло. Мутный кокон вокруг тела стал различим отчётливо – тонкая белёсая плёнка, плотно облегающая костюм.

И жилы. Жилы стали ярче. Дарина первая заметила это. Она выключила верхний свет, чтобы проверить, – и в сумерках комнаты нити на костюме засветились голубым, ясно, отчётливо, не мигая, ровно.

– Лидия Марковна.

– Вижу.

– Они ярче.

– Вижу. Тепло почуяли. – Лидия поднесла руку ко льду. Не касаясь. – Он сам греется. Чувствуешь? От него тянет.

Дарина поднесла ладонь. Действительно, ото льда, над тем местом, где была грудь, шло слабое, едва ощутимое тепло – как от остывающей печки.

– Костюм работает, – сказала Лидия. – Он ждал тепла снаружи. Как семечко ждёт весны. Теперь проснулся.

– Это хорошо?

– Не знаю. Наверное.

В семь вечера пришёл Арсений.

Он не постучал. Он ворвался, распахнув дверь, с ноутбуком в руках, растрёпанный, с красными глазами, и в первую секунду Дарина подумала, что что-то случилось – пожар, толчок, вертолёт. Лидия резко обернулась:

– Тихо! Закрой дверь!

Арсений закрыл. Постоял. Посмотрел на ванну, на фигуру в оттаявшем льду, и на миг забыл, зачем пришёл. Потом вспомнил.

– Дарина Андреевна, – сказал он шёпотом. – Можно вас? На минуту?

– Говори здесь.

– Я... – Он посмотрел на Лидию. – Я не знаю. Лучше вам одной.

– Говори здесь, – повторила Дарина.

Арсений помялся, потом поставил ноутбук на край стола, рядом со шприцами, и открыл.

– Я весь день сидел со снимками, – сказал он. – Из зала. Вашими, моими, Рината. Их там больше трёхсот. Я хотел сделать сшивку, ну, панораму всей стены. И заодно попробовал вытянуть резкость на нашивках. Есть такие программы, они берут несколько снимков одного места с разных точек и складывают, и получается чётче, чем на любом одном. Я сделал для всех. Вот.

На экране появились нашивки – одна за другой, круглые, синие, с надписями. «Сагитов Д. Инженер». «Чекмарёва О. Медик». «Ильин Н. Физик». «Ковш Р. Связь». «Беломестных И. Проводник». Шесть нашивок. Под каждой – маленькая фотография лица, вырезанная из снимков.

– Это пятеро, – сказал Арсений. – Шестой – вот этот, – он кивнул на ванну. – Его нашивку не вытянуть, она в коконе, я пробовал – никак. А седьмая... – Он запнулся. – Седьмая – вот.

Он щёлкнул.

На экране была нашивка, развёрнутая боком, снятая под острым углом, сложенная из десятка снимков в одну картинку. Буквы на ней были искажены перспективой, но читались. Синие буквы на сером.

«Вербицкая Д. А. Руководитель».

Дарина смотрела на экран.

В комнате было очень тихо. Капала вода с края льда в ванну. Тикал термометр на стене – нет, термометры не тикают, это тикали часы где-то в коридоре. Лидия стояла не двигаясь.

– Я подумал, вы должны знать первой, – сказал Арсений очень тихо. – До того, как остальные. Я ещё никому не показывал.

– Спасибо, – сказала Дарина.

Голос был чужой.

– Дарина Андреевна...

– Спасибо, Арсений. Иди. Пожалуйста. Иди.

Он закрыл ноутбук и вышел. Дверь закрылась тихо, без стука.

Дарина стояла и смотрела на свои руки. Руки были мокрые от ледяной воды, красные, с белыми пятнами на костяшках. Она пошевелила пальцами. Пальцы слушались.

– Ну, – сказала Лидия. – Вот и подпись.

– Вы знали?

– Догадывалась. Ещё внизу, когда шрам увидела. Ты на неё так смотрела – как в зеркало. – Лидия помолчала. – Хочешь, я тебе успокоительное дам? У меня есть. Хорошее.

– Нет.

– Хочешь, пойди полежи. Я одна справлюсь.

– Нет. – Дарина взяла ковш. – Вода набралась. Надо вычерпывать.

И стала вычерпывать.

Она вычерпывала воду, выносила ведро, возвращалась, вычерпывала снова, и в голове у неё было пусто и звонко, как в пустом ведре. Одна-единственная мысль билась там, глупая, не та, которую надо было думать: «Семьдесят шесть. Мне будет семьдесят шесть. Значит, я доживу до семидесяти шести». И ещё одна, следом: «И умру во льду».

Она отогнала обе. Вычерпала воду. Вынесла ведро.

Около полуночи лёд дошёл до кокона.

Оболочка вокруг тела стала тонкой, как скорлупа, и местами треснула сама. Лидия осторожно, кончиками пальцев, начала снимать её – кусочек за кусочком, как снимают скорлупу с крутого яйца. Под скорлупой был кокон – мутный, мягкий, похожий на подтаявший снег. А под коконом – ткань костюма.

Ткань была тёплая. Тёплая на ощупь, как живая кожа. Гладкая, плотная, чуть упругая. Серо-синяя. И по ней, прямо под пальцами, бежали голубые нити, светясь изнутри.

– Господи, – сказала Лидия. – Господи, какая работа.

Она освободила лицо. Осторожно, вычищая кокон из уголков глаз, из ноздрей, изо рта, ватной палочкой, тампоном, пальцами. Лицо было бледное, восковое, неподвижное. Молодое. Холодное.

Холодное – но не ледяное.

Лидия приложила два пальца к шее, под углом челюсти. Держала долго, закрыв глаза. Потом открыла.

– Нет пульса.

– Нет?

– Нет. – Она приложила стетоскоп к груди, через ткань. Слушала. Минуту. Две. – Ничего. Тишина.

Дарина посмотрела на кардиомонитор. Ровная зелёная линия ползла по экранчику слева направо, исчезала у края и появлялась снова, такая же ровная. Ни зубца. Ни дрожи. Аппарат молчал – Лидия выключила звук ещё днём, чтобы не пищал впустую.

Дарина почувствовала, как внутри у неё что-то оборвалось. Шестнадцать часов. Тонна льда. Четыреста метров. Кныш, который спал в люльке. И вот – тишина.

– Он умер?

– Не знаю. – Лидия не убирала стетоскоп. – У лягушек сердце не бьётся, пока они не оттают совсем. Совсем. До последней клетки. Может, ещё рано.

– А может, поздно?

Лидия не ответила.

Они освободили его руки. Правая – та, что была вытянута, – так и осталась согнутой в локте, с растопыренными пальцами, будто окоченела. Лидия попробовала её согнуть – не поддалась. Освободили ноги. Тело лежало в ванне, на мокрой простыне, в остатках кокона, и было видно теперь, что костюм – это не одежда, а что-то большее. По всей груди, от горла до живота, шла плоская пластина, вшитая в ткань, чуть выпуклая, размером с ладонь. От неё расходились жилы. В середине пластины был маленький круглый выступ, похожий на пуговицу, и он светился ярче всего – ровным голубым светом.

– Сердечник, – сказала Лидия. – Наверное. Батарея. Или что-то такое.

На левом плече, на рукаве, была нашивка, которую не мог вытянуть Арсений. Теперь, без кокона, её было видно. Круглая, синяя, такая же, как у других. Знак станции – гора с двумя

вершинами. «Перекат». «2068». И внизу – строчка, наполовину сорванная, обтрёпанная по краю, как будто её зацепило чем-то острым. От надписи остались только последние буквы:

«...дин Е. Разведчик».

– Дин, – прочитала Лидия. – Бородин? Голодин? Рындин?

Она замолчала.

Дарина вспомнила, как днём Прохор стоял в дверях и смотрел на лицо во льду. Как будто пытался что-то вспомнить.

– Совпадение, – сказала Лидия. Неуверенно.

– Да, – сказала Дарина. – Половина русских мужиков. Северный типаж.

Они посмотрели друг на друга.

В эту секунду голубые нити на костюме вспыхнули.

Это было так ярко и так неожиданно, что обе отшатнулись. Нити загорелись все разом – белым, ослепительным, как молния, – и комната на миг осветилась, как днём. Потом свет сжался, сбежался по нитям к груди, к пластине, к круглой пуговице в центре – и пуговица вспыхнула ещё раз, коротко, и погасла.

Нити погасли.

Комната погрузилась в полумрак.

– Что это было? – прошептала Дарина.

Лидия не ответила. Она стояла, держа в руке стетоскоп, и смотрела на кардиомонитор. Дарина проследила её взгляд.

На зелёном экранчике, где весь день шла ровная линия, дёрнулся зубец. Один. Маленький, неуверенный. Потом пауза – длинная, бесконечная. Потом второй.

– Это... – начала Дарина.

– Тихо.

Третий. Четвёртый. Пауза короче. Пятый.

– Дефибриллятор, – сказала Лидия очень спокойно. – Его костюм сделал разряд. Это был дефибриллятор. Он запустил сердце.

Шестой. Седьмой. Ровнее. Чаще.

Лидия, не глядя, щёлкнула тумблером на боку аппарата, и монитор запищал – тонко, редко, в такт зубцам. Этот писк показался Дарине самым прекрасным звуком, какой она слышала за всю свою жизнь.

Лидия бросилась к столу, схватила кислородную маску, прижала к лицу молодого человека. Её руки, Дарина видела, тряслись, но двигались точно, быстро, без единого лишнего движения.

– Грелки, – сказала Лидия. – Одеяла. Подогретый раствор, там, на батарее. Капельницу. Быстро, Дарина. Теперь – быстро.

Дарина подавала. Грелки под мышки, на пах, на шею – Лидия показывала куда. Одеяла сверху, одно, другое. Капельница – Лидия нашла вену на левой руке со второй попытки, выругалась, нашла с третьей. Монитор пищал. Зубцы шли. Неровно, с перебоями, но шли.

– Давление никакое, – бормотала Лидия. – Никакое. Ну давай. Давай, мальчик. Ты девять тысяч лет ждал. Давай ещё чуть-чуть.

Грудь под одеялами не двигалась. Сердце билось – а дыхания не было.

– Дыши, – сказала Лидия. – Дыши.

Она сняла маску, достала из ящика резиновый мешок с клапаном, приложила к лицу, сжала. Раз. Грудь поднялась – под одеялами, едва-едва. Отпустила. Грудь опустилась. Сжала. Отпустила.

– Считай, – сказала она Дарине. – Вслух. Раз в пять секунд.

– Раз, – сказала Дарина. – Два. Три. Четыре. Пять.

Сжала. Отпустила.

– Раз. Два. Три. Четыре. Пять.

Сжала. Отпустила.

Это продолжалось долго. Дарина не знала сколько. Пять минут. Десять. Она считала, Лидия сжимала мешок, монитор пищал. За окном стоял серый полусвет, полярная весенняя ночь. Где-то в коридоре открылась и закрылась дверь – кто-то не спал. Наверное, все не спали.

– Раз. Два. Три...

Лидия сжала мешок – и вдруг остановилась.

Грудь под одеялами поднялась сама. Без мешка. Медленно, неглубоко, с тихим хрипом, как будто воздух проходил через что-то узкое и сухое. Опустилась. Пауза. Поднялась снова.

Лидия отняла мешок от лица. Отступила на шаг. Опустила руки.

Молодой человек в ванне дышал.

Ресницы его – светлые, слипшиеся от талой воды – дрогнули. Губы шевельнулись. Изо рта вырвалось облачко пара – тёплого, живого, человеческого пара, – и растаяло в холодном воздухе комнаты.

– Зови Прохора, – сказала Лидия хрипло. – Зови всех.

Но звать было не нужно. Дверь открылась, и в проёме стояли все – Прохор, Ринат, Арсений, Мартын, даже Кныш, в одеяле поверх белья, с серым лицом. Они стояли и смотрели. Никто не входил.

Прохор первым шагнул через порог. Подошёл к ванне. Посмотрел на лицо.

Дарина видела, как у него дрогнул подбородок. Дрогнул и замер.

– Кто он? – спросил Прохор тихо.

Никто не ответил.

Глава 8. Елисей

Он открыл глаза в шесть утра, когда в окно медблока ударило солнце.

Дарина задремала на табурете у стены, привалившись плечом к холодной штукатурке, и проснулась не от звука – от тишины. Монитор пищал так же ровно, как всю ночь. Лидия сидела у ванны – нет, уже не у ванны: ночью его переложили на койку, на сухие простыни, под три одеяла, с грелками, и теперь Лидия сидела у койки, с тетрадью на коленях, и спала сидя, уронив голову на грудь. Окно было закрыто, в комнате было тепло. Всё было как полчаса назад. Но что-то изменилось.

Дарина посмотрела на койку.

Он смотрел на неё.

Глаза у него были серые – светло-серые, почти прозрачные, как лёд на изломе. Они не моргали. Они смотрели прямо, неподвижно, внимательно, как смотрит человек, который не понимает, где он, и боится пошевелиться, чтобы не выдать, что он проснулся.

– Лидия Марковна, – тихо сказала Дарина, не отводя глаз.

Лидия вздрогнула, вскинула голову, уронила тетрадь. Наклонилась над койкой.

– Ты меня слышишь? – спросила она. Голос у неё был хриплый со сна, но мягкий, такой, каким, наверное, она говорила с детьми в приёмном покое. – Если слышишь – моргни.

Он моргнул. Медленно, с усилием, как будто веки весили по килограмму.

– Хорошо. Хорошо. Ты в безопасности. Ты в тепле. Тебе ничего не грозит. Ты понимаешь меня?

Губы шевельнулись. Звука не было – только сухой шорох, как от бумаги.

– Не говори. Не надо. Сначала попей. – Лидия поднесла к его губам ложку с тёплой водой. Он сделал глоток, поперхнулся, закашлялся – тяжело, хрипло, всем телом. Лидия придержала его голову. Он сделал ещё глоток. Ещё.

Потом сказал. Голос был тихий, ломкий, сорванный, но слова были понятные. Русские слова.

– Какой год?

Лидия посмотрела на Дарину. Дарина сглотнула.

– Две тысячи двадцать девятый, – сказала она.

Он закрыл глаза. Долго не открывал. Потом открыл.

– Месяц.

– Апрель.

– Число.

– Тринадцатое.

Он смотрел в потолок. Губы его снова шевельнулись – беззвучно. Дарина поняла, что он считает.

– Тринадцатое, – повторил он. – Значит... – Он запнулся, нахмурился, будто потерял мысль и искал её. – Значит, рано. Нет. Значит... Сообщили?

– Что? – не поняла Лидия.

– На материк. Сообщили?

Дарина и Лидия переглянулись.

– Да, – сказала Дарина. – Девятого. Про нитку. Не про вас. Только про нитку в керне.

Он закрыл глаза снова. Лицо у него стало таким, каким было во льду, – с бровями, сведёнными к переносице, как будто ему больно или трудно. По виску из-под закрытого века скатилась слеза, прозрачная, быстрая, и впиталась в подушку.

– Нитка, – сказал он. – Из-за нитки. Сагитов порвал рукав, когда... когда нас... Нитка ушла в сторону. Мы не знали, что она ушла. – Он открыл глаза. – Вы не виноваты. Вы же не знали.

– Мы прочитали табличку, – сказала Дарина. – Уже потом. «На материк не сообщать». Мы прочитали на день позже.

– На день, – повторил он. – Всегда на день.

– Кто вы? – спросила Лидия.

Он перевёл глаза на неё. Посмотрел долго, внимательно, изучающе, как будто сличал её лицо с чем-то в памяти.

– Вы – Шабалина, – сказал он. – Лидия Марковна. Врач. Вы курите, но не в помещении.

Лидия открыла рот и закрыла.

– Откуда вы...

– Мне рассказывали. – Он перевёл взгляд на Дарину. И замолчал.

Он смотрел на неё долго – дольше, чем на Лидию. Глаза его медленно скользили по её лицу: волосы, лоб, глаза, губы. Остановились на брови. На шраме.

– Вы молодая, – сказал он наконец. Голос дрогнул. – Я знал, что вы будете молодая. Но я не думал... Таисия... нет. Простите. Путаю. – Он зажмурился, помотал головой на подушке, слабо, как больной ребёнок. – Дарина Андреевна. Вы – Дарина Андреевна.

– Да.

– Вы меня учили.

– Я вас вижу первый раз в жизни.

– Да. – Он слабо улыбнулся. Улыбка у него была кривая, на одну сторону, и от этого лицо вдруг стало совсем мальчишеским. – Да. Вы меня ещё не учили. Вы будете меня учить. Через двадцать лет. Когда мне будет восемь. Вы будете учить меня читать лёд.

Дарина не нашлась, что ответить.

– Как вас зовут? – спросила Лидия.

– Елисей.

– А фамилия?

Он не успел ответить. Дверь медблока открылась.

На пороге стоял Прохор. Он, видно, услышал голоса из коридора – а может, и не спал, ждал. Он был в той же безрукавке, в которой ходил уже четыре дня, небритый, с красными глазами.

– Очнулся? – спросил он.

И осёкся.

Потому что Елисей повернул голову на голос – и увидел его.

Дарина потом много раз вспоминала эту минуту. Она видела в своей жизни разные лица – испуганные, счастливые, мёртвые. Но такого она не видела никогда. Лицо Елисея сначала ничего не выражало – просто смотрело. Потом в нём что-то сдвинулось, как сдвигается лёд весной: незаметно, а потом сразу, с треском. Глаза расширились. Губы задрожали. Он попытался приподняться на локте – не смог, упал обратно на подушку, – и протянул руку, ту, левую, с иглой капельницы, к двери. К Прохору.

– Дед? – сказал он.

Прохор стоял в дверях. Он не двигался.

– Дед, – повторил Елисей. Голос сорвался, стал совсем детским. – Дед. Ты живой. Ты... Ты молодой. Ты совсем молодой.

Прохору был шестьдесят один год. Он был седой, морщинистый, с больными коленями и толстым шрамом на шее от давней операции. Молодым его не назвал бы никто на свете.

Кроме того, кто видел его в последний раз очень старым.

– Ты меня не знаешь, – сказал Елисей, глядя Прохору в лицо. – Да. Конечно. Ты меня не знаешь. Меня ещё нет. Меня ещё долго не будет.

Прохор молчал. Рука его, лежавшая на косяке, побелела в костяшках.

– Как тебя зовут? – спросил он наконец. Очень тихо. Очень ровно.

– Елисей. Елисей Глебович Рындин. Родился в Архангельске, в сорок первом году. Папа – Глеб Прохорович. Мама – Вера. – Он говорил быстро, захлёбываясь, как будто боялся, что не успеет. – Ты меня научил вязать морской узел. Ты мне подарил компас. Медный, твой, армейский. Он у меня был с собой. Он... он, наверное, там остался, во льду. В кармане.

Прохор сделал шаг в комнату. Потом ещё один. Остановился у койки. Посмотрел на Елисея сверху – на светлые волосы, прямые брови, подбородок с ямочкой.

Потом повернулся и вышел. Быстро, не оглядываясь. Дверь хлопнула.

Елисей смотрел на закрытую дверь.

– Ему надо время, – сказала Лидия мягко.

– Да, – сказал Елисей. – Время. – Он вдруг тихо засмеялся – и смех перешёл в кашель. – Ему надо время. Смешно. Время.

Он закрыл глаза и через минуту уснул – сразу, как падают в обморок.

Лидия проверила пульс, давление, подтянула одеяло. Потом села на табурет, достала из-за уха сигарету, повертела её в пальцах и посмотрела на Дарину.

– Ну, – сказала она. – Внук.

– Внук, – сказала Дарина.

– Родится в сорок первом. Значит, Глеб с Прохором помирятся. Или хотя бы Глеб женится. И у них будет мальчик.

– Если ничего не изменится.

– А что может измениться?

Дарина не ответила. Она смотрела на спящее лицо Елисея и думала о том, что он сказал: «Вы будете учить меня читать лёд». Значит, она будет жива через двадцать лет. Значит, будет где-то рядом с Рындиными. Значит, у неё будет будущее, в котором есть этот мальчик, и лёд, и – через сорок лет – эта стена в зале на четырёхстах метрах.

А потом она подумала о том, что он сказал ещё: «Всегда на день».

Прохора она нашла на крыльце. Он стоял у перил и курил.

Дарина замерла в дверях. За четыре месяца она ни разу не видела Прохора с сигаретой. Он не курил. Он говорил, что бросил двадцать лет назад, и гордился этим, и выгонял курильщиков с крыльца на ветер, к ангару. А теперь стоял и курил – неумело, жадно, затягиваясь глубоко и кашляя.

Рядом стоял Мартын. Это была его сигарета – из пачки, которую Мартын держал «на всякий случай» и не трогал годами, потому что курил трубку.

– Не надо, – сказал Прохор, не оборачиваясь. Он узнал её шаги. – Не надо ничего говорить.

– Я не говорю.

– Вот и не говори.

Они стояли втроём на крыльце. Солнце поднялось над горизонтом и висело, яркое, низкое, бросая на снег длинные синие тени. Над станцией кружили две чайки – первые в этом году. Они прилетели с моря, где у кромки льда открылись разводья.

– Восемь лет, – сказал Прохор наконец. Он смотрел на чаек. – Восемь лет я ему не звонил. Глебу. Думал – он сам. Он думал – я сам. И вот. Пацан. С моим подбородком. Говорит – я ему компас подарил. Медный. – Он затянулся, закашлялся. – У меня есть медный компас. Армейский. Я его никому не показывал. Он в чемодане лежит. Здесь. В комнате.

– Значит, подарите, – сказал Мартын.

– Кому? Его ещё нет.

– Будет.

– А если не будет? – Прохор повернулся к ним. – Если я и дальше не позвоню? Если Глеб не женится? Если всё пойдёт не так? Он же говорит – что-то случилось, они пришли что-то исправить. Значит, будущее можно менять. А если менять можно, то можно и сломать. И не будет никакого Елисея. Никакого мальчика с моим подбородком.

Мартын выбил трубку о перила.

– Прохор Ильич, – сказал он. – Ты сейчас про что думаешь? Про то, чтобы не сломать, – или про то, чтобы позвонить?

Прохор долго смотрел на него.

– Не знаю, – сказал он.

– Вот и думай, – сказал Мартын и ушёл в дом.

Днём Елисей проснулся ещё дважды. Первый раз – ненадолго: попил бульону, который Мартын сварил специально, на курице из последних запасов, сказал «спасибо» и снова уснул. Второй раз – около четырёх. Этот раз был дольше.

Он был слабый, но говорил уже связно. Лидия разрешила зайти всем, по одному, на пять минут, – «чтобы он видел лица, ему это нужно, он должен понять, что не один». Они заходили. Ринат – смущённо, улыбаясь во все свои белые зубы, с гитарой, которую не решился достать из чехла. Арсений – взволнованно, с сотней вопросов, которые Лидия запретила задавать, и поэтому он стоял и молчал, и только глаза у него горели. Мартын – с бульоном. Кныш не пришёл.

– А где буровой? – спросил Елисей. – Кныш. Аким Степанович. Он здесь?

– Здесь, – сказала Дарина. – Спит. Он вас вырезал. Шестнадцать часов во льду стоял.

Елисей помолчал.

– Он вырезал, – сказал он задумчиво. – Это хорошо. Это... не так было.

– Что не так?

– В архиве. В архиве было... – Он поморщился, закрыл глаза. – Не помню. Было что-то про него. Важное. Забыл.

– Ничего, вспомните.

– Нет. – Он открыл глаза. – Не вспомню. Это не так работает. – Он с усилием приподнялся на подушке. Лидия хотела его уложить, но он отвёл её руку. – Дарина Андреевна, послушайте. У меня мало времени. Не в том смысле, что я умираю. Хотя, может, и в том. Переход – он не только тело ломает. Он память ест. Мы знали, что так будет. Сагитов считал – недели три, может, месяц, и я забуду всё, что было после две тысячи двадцать девятого. Всё, что я знаю про будущее. Оно уходит. Оно уже уходит. Я вот сейчас помнил, что было с Кнышем, – и уже нет. Как сон. Проснулся – и тает.

– Почему?

– Потому что этого ещё не было. – Он посмотрел на неё в упор. – Память о том, чего ещё не было, – она здесь не держится. Время её слизывает. Как волна песок.

Дарина почувствовала, как по спине прошёл холод.

– Тогда рассказывайте, – сказала она. – Сейчас. Пока помните.

– Не могу. Не всё. Я – разведчик. Я не руководитель. Я знаю мало. Всё главное – в пластинах.

– В каких пластинах?

– В архиве. – Он поднял руку – правую, ту, что всё ещё не до конца разгибалась, – и показал на свою грудь, на то место, где под больничной рубашкой, которую на него надела Лидия, должна была быть пластина костюма. – У каждого из нас – пластина. Вшита в костюм. Металл. Буквы выбиты. Мы не могли взять ничего, что работает от тока, – переход убивает всё, что работает от тока. Только металл. Только выбитые буквы. Как на табличке. У каждого своя часть. Вместе – всё. Хроника. Даты. Имена. Что будет. Как остановить.

– Остановить что?

Елисей посмотрел на неё – и не ответил. Глаза его вдруг стали пустыми, растерянными, как у человека, который вошёл в комнату и забыл зачем.

– Я не помню, – сказал он тихо. – Только что помнил. Оно было вот тут. – Он коснулся лба. – А теперь нет.

Лидия решительно встала.

– Всё, – сказала она. – Хватит. Спать.

– Нет, ещё...

– Спать, я сказала. Ты три часа как с того света. Завтра поговорите.

Он не стал спорить. Откинулся на подушку. Закрыл глаза. Но перед тем как уснуть, сказал ещё – тихо, уже в полусне, так, что Дарина едва разобрала:

– Мою пластину... найдите мою пластину. В костюме. Там первая часть. Там – когда они прилетят.

Дарина вышла в коридор – налить себе воды, умыться, просто постоять минуту вне этой белой комнаты, где воздух был густой от лекарств и чужого дыхания. Дверь в комнату Кныша была приоткрыта. Он не спал. Он сидел на койке, в свитере, свесив ноги, и смотрел в пол.

– Живой? – спросил он, не поднимая головы.

– Живой.

– Говорит?

– Говорит.

Кныш помолчал.

– Про меня спрашивал?

Дарина остановилась.

– Спрашивал. Сказал – вы его вырезали, и это хорошо. Сказал, что в архиве про вас было что-то важное. И что он забыл, что именно.

Кныш медленно поднял на неё глаза. Светлые, почти белые. В них было что-то, чего Дарина не могла прочитать, – то ли страх, то ли облегчение.

– Забыл, – повторил он.

– Говорит, память уходит. Всё, что про будущее.

– А что он знает про будущее?

– Не знаю, Аким. Он сам не знает. Говорит, всё записано в пластинах.

Кныш кивнул, как будто она подтвердила что-то, о чём он давно догадывался. Отвернулся к стене.

– Иди, – сказал он. – Устал я.

Дарина постояла ещё секунду – ей хотелось спросить про чёрный телефон, про ночной звонок, про «вы обещали». Но она не спросила. Она ещё не знала, как об этом спрашивать. И кого она боится больше – Кныша или ответа.

Она вернулась в медблок.

Костюм лежал в углу, на полу, на расстеленной простыне, – Лидия срезала его ночью ножницами, по швам, которых не было, прямо по ткани, потому что иначе снять его было невозможно. Он лежал серо-синей грудой, мокрой, тяжёлой, с погасшими нитями. Дарина подошла к нему, опустилась на колени.

Пластина была на месте. Плоская, металлическая, вшитая в грудь костюма изнутри, между двумя слоями ткани. Снаружи – тот круглый выступ-пуговица, теперь тёмный, мёртвый. Изнутри – гладкий серый металл.

Она нашарила край. Ткань вокруг была плотной, но поддалась ножницам Лидии.

Через пять минут у неё в руках лежала пластина. Тонкая, гибкая, серая, размером с тетрадный лист. Обе стороны её были покрыты мелкими буквами, выбитыми плотно, строка к строке, без полей, без отступов.

Первая строка, крупнее остальных, была выбита у верхнего края:

«Хроника. Часть первая. Апрель – декабрь 2029 года».

Дарина прочитала вторую строку. Потом третью. Потом поднялась и, не говоря ни слова, пошла звать Прохора.

Глава 9. Хроника

Читали ночью, в столовой, при свете одной лампы над столом, вчетвером: Прохор, Дарина, Арсений и Лидия, которая каждые десять минут уходила в медблок проверить Елисея и возвращалась. Остальных не звали. Не потому, что не доверяли, – Прохор сказал коротко: «Сначала сами. Потом решим, что говорить». Дарина подумала о Кныше и промолчала.

Пластина лежала на столе, на чистом полотенце. Под лампой её металл казался не серым, а почти серебряным, и буквы на нём отбрасывали крошечные тени. Буквы были мелкие, но чёткие, ровные, словно напечатанные на машинке, – только вдавленные в металл. Дарина взяла у Лидии лупу. Арсений положил рядом ноутбук, чтобы набирать текст, – «чтоб не потерять, вдруг металл окислится». Прохор сидел, положив обе руки на стол, и молчал.

– Читай, – сказал он.

Дарина начала.

«Хроника. Часть первая. Апрель – декабрь 2029 года.

Составлено экспедицией "Перекат" по документам Управления особых изысканий, рассекреченным в 2058 году, по воспоминаниям выживших и по личному архиву Вербицкой Д. А.

Девятого апреля 2029 года станция "Ледораздел" (начальник Рындин П. И.) сообщает в Арктический институт о находке синтетического волокна в керне скважины два на глубине 410 метров. Через два часа сообщение передано в Управление особых изысканий по обязательной линии. Одновременно сведения о находке поступают в Управление по второй линии».

Дарина остановилась.

– По второй линии, – повторил Арсений. – Это что значит?

– Читай дальше, – сказал Прохор.

«Десятого апреля в результате подвижки льда на куполе Тишина вскрывается трещина, ведущая в полость на глубине 420 метров. Персонал станции обнаруживает "Ледяной архив". В тот же день Управление направляет предписание о прекращении работ».

– Это всё правда, – прошептал Арсений, печатая. – Это всё было. Это прямо мы.

«Одиннадцатого – восемнадцатого апреля персонал станции выполняет предписание. Архив не вскрывается. Разведчик Рындин Е. Г. погибает во льду в ночь на пятнадцатое апреля, не дождавшись помощи».

Дарина замолчала. Тишина в столовой стала такой плотной, что было слышно, как гудит лампа над столом.

– Погибает, – сказала Лидия. – Но он не погиб. Он там, в медблоке. Спит. Я его только что слушала. Сердце работает как часы.

– Значит, уже не так, – сказал Прохор тихо. – Уже изменилось.

– Потому что мы его вырезали, – сказал Арсений. – Потому что мы не выполнили предписание. В той хронике мы выполнили. А здесь – нет.

– В той хронике, – повторила Лидия. – Господи. Мы уже говорим «в той хронике».

– Читай, – сказал Прохор.

«Девятнадцатого апреля на станцию прибывает группа Управления под командованием полковника Корсака В. С. В составе группы – вооружённое подразделение (капитан Остапчук), физик Фрейман А. М., технический персонал. Станция закрывается. Связь с внешним миром прекращается».

– Корсак, – сказал Прохор. – Корсак Вадим Сергеевич. Я про него слышал.

– Что слышали?

– Ничего хорошего. И ничего плохого. Он из тех, про кого слышишь – и потом стараешься не вспоминать.

«Двадцать второго апреля персонал станции вывозится на материк. Все дают подписку о неразглашении. Рындин П. И. уволен по состоянию здоровья. Вербицкая Д. А. отстранена от полевой работы на десять лет. Луговой А. В. отчислен из аспирантуры. Шабалина Л. М., Ахмеджанов Р. Р., Мокроусов М. Е. – переведены на другие станции. Кныш А. С. – получает вознаграждение».

– Вознаграждение, – повторила Лидия. – Это за что?

Дарина посмотрела на Прохора. Прохор смотрел на пластину.

– Дальше, – сказал он. Голос был совсем ровный.

«С мая по декабрь 2029 года Управление проводит вскрытие архива. Тела экспедиции "Перекат" извлечены, пластины архива изъяты. Содержание пластин засекречено. Пластины изучаются группой полковника Корсака. На основании сведений из пластин – прежде всего о расположении и свойствах ядра складки – Управление начинает подготовку к проекту "Складка". Предупреждения, содержащиеся в пластинах, признаны дезинформацией».

– Дезинформацией, – сказал Арсений. – Они прочитали предупреждение – и сочли его враньём. И сделали ровно то, от чего их предупреждали.

– Да, – сказала Дарина.

– Но так же нельзя. Это же... это глупо.

– Это не глупо, – сказал Прохор. – Это по-человечески. Тебе приносят письмо: не делай вот этого. А в письме – как это сделать. Подробно. С цифрами. Кто устоит?

Арсений замолчал.

«В августе 2030 года начинается бурение к ядру. В декабре 2030 года ядро извлечено. Начало проекта "Складка". Подробности – в частях второй – седьмой.

Примечание руководителя экспедиции. Части распределены по пластинам так, чтобы потеря любой одной не погубила всё. Но потеря трёх – погубит. Если вы читаете это, значит, нашли хотя бы одного из нас. Найдите остальных. Найдите меня. Моя часть – последняя. Д. А. В.»

На этом сторона кончалась. Дарина перевернула пластину. Обратная сторона была заполнена так же плотно, но это была не хроника, а что-то другое – список. Имена, даты, места. Мелко, столбиками.

– Это что? – спросил Арсений.

Дарина вгляделась. Первая строка: «Список лиц, связанных с проектом "Складка" (2029–2051)». Дальше шли фамилии. Некоторые она не знала. Некоторые – знала. Два замминистра. Директор института. Корсак В. С. – полковник, затем генерал, затем руководитель проекта. Фрейман А. М. – физик, затем ведущий теоретик, «покинула проект в 2034 году, арестована». Остапчук – «начальник охраны объекта».

И в самом низу – отдельной строкой, крупнее:

«Рындин П. И. – умер в 2047 году в Архангельске. Похоронен рядом с женой. Последние годы прожил с сыном Глебом и внуком Елисеем».

Прохор протянул руку и взял у неё лупу. Наклонился над пластиной. Читал долго – эту строчку, одну, раз за разом. Потом положил лупу. Выпрямился.

– Сорок седьмой, – сказал он. – Восемьдесят. Хороший возраст.

– Прохор Ильич...

– С сыном и внуком, – сказал он, как будто не слышал. – Значит, помиримся. Значит, всё-таки. – Он встал. – Пойду. Мне надо.

Он ушёл. Они слышали, как его шаги удаляются по коридору – не к его комнате, а в сторону закутка связи.

– Звонить пошёл, – сказала Лидия.

– Ночью? – удивился Арсений.

– А когда ещё? Днём он не решится.

Но Прохор не позвонил. Это Дарина узнала утром от Рината: тот проснулся от того, что в закутке горел свет, и увидел Прохора, который сидел перед жёлтой трубкой спутникового телефона и не снимал её. Просто сидел и смотрел. Полчаса. Потом выключил свет и ушёл.

Когда шаги Прохора стихли, Лидия взяла пластину – осторожно, за края, как берут рентгеновский снимок, – и поднесла к лампе. Перечитала строчку про переводы. Потом строчку про Кныша.

– «Получает вознаграждение», – сказала она. – Всех разогнали, а одному – вознаграждение. За что, интересно, Управление даёт вознаграждение буровому мастеру?

– За то, что хорошо бурил, – сказал Арсений неуверенно.

– Ты сам-то веришь?

Арсений не ответил. Он смотрел в экран ноутбука, где курсор мигал после слова «вознаграждение», и уши у него, и без того вечно красные, стали малиновыми.

– Аким же нас вытащил, – сказал он наконец. – Вчера. Шестнадцать часов. Он же чуть не умер там.

– Вытащил, – согласилась Лидия. – А в той хронике, где никто никого не вытаскивал, – получил вознаграждение. Одно другому не мешает. Люди, Арсений, бывают разные одновременно. Я двадцать пять лет в медицине, я видела, как пьяница выносит детей из горящего дома, а потом на тех же руках бьёт жену.

Она положила пластину на полотенце и посмотрела на Дарину.

– Ты что-то знаешь, – сказала она. Не спросила – сказала.

Дарина помедлила.

– Может быть. Я не уверена.

– Когда будешь уверена – будет поздно. Это я тебе как врач говорю. Все диагнозы ставят поздно, потому что ждут уверенности.

– Утром, – сказала Дарина. – Утром скажу Прохору. Сначала ему.

Лидия посмотрела на неё долгим взглядом, потом кивнула и ушла в медблок, к Елисею. Арсений сохранил файл, сделал копию на флешку, вторую – на старый телефон, третью – распечатал, и всё это молча, сосредоточенно, с таким видом, будто от этих копий зависела жизнь. Может быть, так оно и было.

Елисей проснулся в два часа ночи – с криком.

Дарина ещё не ушла из столовой: она сидела над пластиной, переписывая список от руки в дневник, на случай если ноутбук Арсения подведёт. Крик был короткий, хриплый, страшный – так кричат во сне, когда падают. Она бросилась в медблок. Лидия была уже там – она дремала на табурете у койки и вскочила первой.

Елисей сидел на койке, вцепившись руками в одеяло, мокрый от пота, с огромными глазами, и смотрел в стену.

– Всё хорошо, – говорила Лидия. – Всё хорошо. Ты здесь. Ты в тепле. Это был сон.

– Это был не сон, – сказал Елисей. Он дышал тяжело, с присвистом. – Это была память. Последняя. Она уходила. Я её держал, а она уходила. Как вода сквозь пальцы.

– Какая память?

Он посмотрел на неё, потом на Дарину. Глаза его медленно возвращались из того места, где он был.

– Осыпь, – сказал он.

Дарина села на край койки. Лидия хотела возразить, но Дарина посмотрела на неё, и Лидия промолчала.

– Расскажите, – сказала Дарина. – Пока помните.

Елисей долго молчал. Потом начал говорить – медленно, с трудом подбирая слова, как будто переводил с другого языка.

– Мне было десять лет. Пятьдесят первый год. Мы жили в Архангельске. Папа, мама, я. Дед... дед уже умер. Мы жили на Набережной, в старом доме, на четвёртом этаже. У меня была своя комната. Окно на Двину. – Он закрыл глаза. – Это было в октябре. Вечером. Я делал уроки. Мама на кухне. Папа ещё на работе. И вдруг – звук. Как будто где-то очень далеко лопнула струна. Огромная струна. На весь мир. И потом – тишина. Такая, что уши заложило.

Он открыл глаза.

– Я подошёл к окну. Река... Река была не та. Она текла. А потом встала. Вода встала. Не замёрзла – встала. Как на фотографии. Волны застыли. Чайка над водой застыла в воздухе, с раскрытыми крыльями. Висела. И я смотрел на неё и не понимал, почему она не падает.

Лидия медленно опустилась на табурет.

– А потом чайка вдруг начала стареть, – сказал Елисей. – Прямо в воздухе. Перья стали седые, потом выпали. Потом от неё остался скелет. Потом скелет рассыпался. А река всё стояла. Это заняло секунд десять. Я считал. Я почему-то считал.

– Господи, – прошептала Лидия.

– Мама закричала на кухне. Я побежал к ней. Она стояла у плиты, у неё в руках была кастрюля, и она смотрела на свои руки. На руках была... кожа была старая. Как у бабушки. Морщины, пятна. А лицо – ещё молодое. Только руки. Она стояла у окна, и руки были ближе к окну. – Он сглотнул. – Время. Оно рвалось. Неровно. Кусками. В одном месте – минута за год. В другом – год за минуту. Его нельзя было увидеть. Можно было только попасть.

– А папа? – спросила Дарина тихо.

– Папа пришёл через три часа. Пешком. Он был на работе, в порту. Порт попал. Он сказал – в порту за три часа прошло двадцать лет. Половина людей... Он сказал – они просто превратились в стариков и упали. А он стоял на краю, на границе, и успел отскочить. Он сказал – граница была как стекло. Её было видно. Воздух на ней дрожал.

Он замолчал. Медленно разжал пальцы, отпустил одеяло.

– Это называлось Осыпь, – сказал он. – Потому что время осыпалось. Как старая штукатурка. Кусками. От Таймыра до Кольского. Тысячи километров. Сорок дней. Потом остановилось. Но не до конца. Остались места, где оно до сих пор... неправильное. Туда нельзя ходить. Там люди стареют за час. Или наоборот – заходят и выходят через десять лет, а для них прошла минута. Это называли «пятна».

– Сколько погибло? – спросила Дарина.

– Не знаю. Никто не знает точно. Говорили – четыре миллиона. Говорили – шесть. Говорили – больше. – Он посмотрел на неё. – Корсак погиб. В первый же час. Он был там, у ядра, в центре. Говорили – от него остался только костюм. Пустой. С пылью внутри.

Тишина.

– И вы решили вернуться, – сказала Дарина.

– Не я. Вы. – Он слабо улыбнулся. – Вы решили. Вы двадцать лет считали. Вы и Ильин. Вы нашли, что край складки ещё жив. Что через него можно пройти. Назад. Далеко назад. На девять тысяч лет. И что если пройти – можно оставить письмо. В лёд. Чтобы нашли сейчас. Чтобы успели.

– Почему на девять тысяч лет? Почему не прямо сюда?

– Потому что сюда нельзя. Складка так устроена. Она не выпускает в близкое время. Только в далёкое. Как... как камень, брошенный в колодец, – он не может остановиться на середине, он летит до дна. Дно – девять тысяч лет назад. Там мы встали. Там лёд вырос вокруг нас. И ждали. Это вы придумали, – добавил он тихо. – Лёд как бутылка для письма. Вы говорили – самая надёжная почта на свете.

Арсений, который стоял в дверях – Дарина не заметила, когда он пришёл, – тихо выдохнул.

– Бутылка, – сказал он. – Я же говорил.

– Почему вы выжили, а другие нет? – спросила Лидия.

Елисей посмотрел на неё долго.

– Потому что мне отдали свои батареи, – сказал он. – Все. Каждый. У костюма есть запас – на сто лет, на тысячу. На девять тысяч – не хватает. Мы знали, что не хватит. Мы решили, что выживет один. Самый молодой. Разведчик. Чтобы было кому рассказать. Остальные отдали мне свой запас. Через провода. Когда мы стояли там, в последнюю минуту, перед тем как лёд... – Он вытянул правую руку вперёд, ладонью, как во льду. – Я держал руку вот так, потому что мы стояли в цепи. Рука к руке. Батарея к батарее. Ковш держала меня за эту руку. А потом лёд встал между нами, и её рука ушла. А моя осталась. Вот так.

Он опустил руку.

Лидия встала. Отвернулась к окну. Дарина видела, как вздрагивают её плечи. За окном стоял тот же серый полусвет, и где-то у ангара хлопал на ветру незакреплённый край брезента.

– Вы знаете, что у нас мало времени? – спросил Елисей.

– Девятнадцатое, – сказала Дарина. – Хроника говорит – Корсак прилетит девятнадцатого. Сегодня – уже четырнадцатое. Пять дней.

Елисей покачал головой.

– Хроника говорит – девятнадцатого. Хроника говорит – я умер пятнадцатого. Хроника уже врёт.

– То есть?

– То есть если одно изменилось – может измениться и другое. – Он помолчал. – В той хронике вы ничего не делали. Сидели и ждали. А тут вы спустились, вырезали меня, оживили. Это шум. Это следы. Кто-то мог заметить.

– Кто?

Елисей посмотрел на неё. Потом на дверь. Потом обратно на неё.

– «По второй линии», – сказал он. – Вы ведь прочитали. Это значит – у Управления здесь свой человек. Я не помню кто. Это было в другой пластине. Но кто-то здесь, на станции, звонит им. И если он звонил... то они уже знают. И прилетят раньше.

Дарина вспомнила ангар, переноску, чёрную трубку с короткой антенной.

«Врач говорит – живой».

– Я знаю, кто, – сказала она.

Лидия обернулась от окна. Арсений замер в дверях.

– Кто? – спросил Елисей.

Дарина открыла рот – и в этот момент где-то в глубине станции, в закутке связи, громко и тревожно запищал зуммер. Входящее сообщение.

Через минуту в медблок вошёл Ринат – заспанный, в трусах и свитере, с листом распечатки в руке.

– Опять они, – сказал он. – С того же номера. «Станция Ледораздел. Комиссия прибудет шестнадцатого апреля, ориентировочно в десять утра. Обеспечить площадку. Подтвердить получение».

– Шестнадцатого, – сказал Арсений. – Это послезавтра.

– Не девятнадцатого, – сказала Лидия.

Елисей лёг на подушку и закрыл глаза.

– Вот и всё, – сказал он. – Время пошло.

Глава 10. Два дня

Прохор не спал. Это было видно сразу, как только Дарина постучала и он открыл дверь – одетый, выбритый, с холодной кружкой чая в руке. Комната у него была такая же, как у всех, два на три, но в ней было пусто, как в казарме: застеленная по линейке койка, стол, на столе – ничего, кроме рабочего журнала и карандаша. На стене – карта острова. На полу у койки – старый фибровый чемодан с металлическими уголками.

– Заходи, – сказал он.

Дарина вошла. Он закрыл дверь.

– Я знаю, кто вторая линия, – сказала она без предисловий.

Прохор сел на койку. Кивнул на табурет. Она не села.

– Кныш, – сказал Прохор.

Дарина замерла.

– Вы знали?

– Догадался. Ночью. Когда прочитал про вознаграждение. – Он поставил кружку на стол. – А ты откуда?

Она рассказала. Ангар, переноска, чёрный телефон с короткой антенной. «Врач говорит – живой». «А дочь? Вы обещали».

Прохор слушал не перебивая. Когда она закончила, он долго смотрел в стену, на карту.

– Одиннадцатого, – сказал он. – Почему не сказала сразу?

– Не была уверена.

– А теперь уверена?

– Теперь – да.

Прохор помолчал.

– Девять лет я его знаю, – сказал он. – Три сезона вместе. На Земле Франца-Иосифа, на Новой Земле, здесь. Он мне жизнь спас однажды – я в полынью провалился, он меня вытащил за капюшон. Я ему верю, как себе.

– Я знаю.

– Нет, не знаешь. – Прохор сказал это не резко, устало. – Ты не знаешь, что такое девять лет на станции с одним человеком. Это больше, чем жена. Жену видишь вечером. А его – всегда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.